

И. А. Ильин О МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКЕ

И. А. ИЛЬИН

**О МОНАРХИИ
И РЕСПУБЛИКЕ**

ГЛАВНЫЕ ТРУДЫ ПРОФ. И.А. ИЛЬИНА

На русском языке

- Философия Гегеля, как учение о конкретности Бога и человека. Том I — Учение о Боге. Том II — Учение о человеке. Москва, 1918.
- Религиозный смысл философии. Три речи, 1914-1923. Париж, 1924.
- О сопротивлении злу силою. Берлин, 1925; 2-е изд., Лондон (Канада), 1975.
- Путь духовного обновления. Белград, 1937; 2-е изд. (полное), Мюнхен, 1962.
- Основы искусства. О совершенном в искусстве. Рига, 1937.
- Аксиомы религиозного опыта. Исследование. В 2-х тт. Париж, 1953.
- Наши задачи. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х тт. Париж, 1956.
- О сущности правосознания. Мюнхен, 1956.
- Путь к очевидности. Мюнхен, 1957.
- Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. Мюнхен, 1958.
- О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин-Ремизов-Шмелев. Мюнхен, 1959.
- Русские писатели, литература и искусство. Сборник статей, речей и лекций. Вашингтон, 1973.

На немецком языке

- Ich schaue ins Leben. Ein Buch der Besinnung. Berlin, 1938; 2. Auflage, 1939.
- Wesen und Eingenart der Russischen Kultur. Drei Betrachtungen. Zürich, 1942; 2. ergänzte Auflage, 1944.
- Die ewigen Grundlagen des Lebens. Zürich, 1943.
- Das verschollene Herz. Ein Buch stiller Betrachtungen. Bern, 1943.
- Blick in die Ferne. Ein Buch der Einsichten und der Hoffnungen. Zürich, 1945.
- Die Philosophie Hegels als kontemplative Gotteslehre. Bern, 1946.

И. А. ИЛЬИН

**О МОНАРХИИ
И РЕСПУБЛИКЕ**

Редакция, предисловие и « Приложение »
Н.П. Полторацкого

Содружество
Нью-Йорк, 1979

I. A. ILJIN

ON MONARCHY
AND REPUBLIC

Edited, with an Introduction and « Supplement »,
by *N. P. Poltoratzky*

Copyright © 1979 by Nikolai P. Poltoratzky

Sodruzhestvo
New York, 1979

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикуемый здесь труд выдающегося русского философа, юриста и публициста Ивана Александровича Ильина (1883-1954) готовился и писался им в течение очень долгого времени, но остался недоведенным до конца. Согласно сохранившимся в архиве профессора Ильина записям, этот труд должен был быть построен по следующему плану. За «Введением» должны были следовать двенадцать глав, объединенных в четыре части. В первой части (главы первая и вторая) выясняются формальные черты монархии и ставится проблема монархического правосознания. Во второй части (главы третья - седьмая) формулируются основные предпочтения монархического правосознания. В третьей части (главы восьмая - десятая) должны были быть проанализированы основные задания монарха и его внутреннее делание и качества, а также положение, задачи и делание подданного в монархии. Четвертая часть (главы одиннадцатая и двенадцатая) посвящались опасностям монархии и переходу монархии в республику, а республики — в монархию.

Проф. Ильин успел написать набело введение и первые семь глав задуманной им книги «О монархии». Он точно указал также те страницы его берлинских лекций «Понятия монархии и

республики », читанных им в Русском Научном институте в 1929/30 академическом году, которые должны были войти в главы 8, 9 и 11 его исследования. Эти тексты печатаются здесь с максимально возможным сохранением их первоначального, лекционного характера, но даются отдельно, в виде как бы дополнения к подготовленному автором к печати тексту введения и первых семи глав. Поскольку и эти лекционные тексты, и предшествующие им в книге уже готовые тексты построены на сопоставлении монархического и республиканского правосознаний, представлялось правильным дать всей книге именно это, обобщающее заглавие: « О монархии и республике ».

Подробнее об общем замысле и работе проф. Ильина над его исследованием « О монархии » говорится в « Приложении » Н.П. Полторацкого, помещенном в конце книги. В нем выясняется также общая позиция И.А. Ильина в отношении прошлой, настоящей и будущей России — применительно к проблеме монархии и республики.

По соглашению с издателем и редактором журнала « Русское возрождение », введение и первые семь глав исследования И.А. Ильина « О монархии » печатались в журнале по частям в течение 1978 года, несколько предваряя отдельное издание этой книги. Главы из берлинского курса проф. Ильина « Понятия монархии и республики » печатаются впервые. По техническим причинам примечания даются в конце соответствующих глав.

Питтсбург, декабрь 1978 г.

Н.П.

О МОНАРХИИ

Исследование

Введение

ПРОБЛЕМА И ЕЕ ЗАТРУДНЕНИЯ

1

Приступая к изложению моих *изысканий* о монархии и *выводов*, к которым я пришел, я хотел бы отметить прежде всего те *затруднения*, с которыми мне приходилось бороться. Задача установить сущность монархического строя в отличие от республиканского есть задача весьма трудная.

Она трудна, во-первых, потому, что монархическая форма правления, — «персональное единовластие», — есть форма *весьма древняя*. Она стара, как начало здоровой «моно-андрической» семьи (с единым супругом и отцом), как начало отеческой власти и единого рода; она стара, как человеческое общество. И поэтому исторический материал моего исследования совершенно необозрим и неисчерпаем; на подробное обследование его потребовалось бы несколько человеческих жизней.

Эта задача трудна, во-вторых, потому, что

разрешение ее встречается с одной из сложнейших проблем науки права, именно с проблемой *методологической*; для того чтобы разобраться в ней, нужна серьезная философская подготовка, и справедливость требует признать, что многие из опытных и даже признанных ученых юристов не разбираются в ней надлежащим образом.

Эта задача трудна, в-третьих, потому, что сущность монархии, как и самая сущность права — имеет природу *сверх-юридическую*. Это означает, что для разрешения вопроса об отличии монархии от республики необходимо, *не выходя из пределов науки, выйти за пределы юриспруденции*. Надо, не порывая с научным материалом государственных законов, политических явлений и исторических фактов, *проникнуть в их философский, религиозный, нравственный и художественный смысл* и постигнуть их, как состояния человеческой души и человеческого духа.

Наконец, в-четвертых, эта задача трудна потому, что ныне монархический строй и самая идея монархии вовлечены в тот общий мировой кризис, который разразился на наших глазах в двадцатом веке с небывалой еще в истории бурностью и остротой. Люди утрачивают духовное измерение вещей и жизни; они как бы слепнут для духовной субстанции бытия и судят обо всем по своему *собственному интересу*, по навязанному им трафарету или же по *внешней видимости*. И вот монархическое начало, стоящее по природе своей в *скрещении государственности, религии и нравственности*, не могло не быть захвачено общим духовным кризисом. Духовно ослепшие люди начи-

нают слепо ненавидеть и слепо преклоняться; их сила суждения, и без того небольшая, слабеет и разлагается окончательно; в партийном пристрастии они извращают все постановки вопроса, критикуют вкривь и возвеличивают вкось; забывают в чем цель человеческой жизни и какие средства и пути ведут к ней; доверяются сходно болтающим обманщикам и берут под подозрение всех, кто не произносит принятых ими слов и догм. В такую эпоху образ исследуемого нами предмета как бы заболевает в душах, потому что он оказывается в самом фокусе скопившихся и не разряжающихся страстей — ненависти, зависти, честолюбия и партийного властолюбия. И говорить о сущности монархии становится задачей и трудной, и неблагодарной.

Таким партийным «страстотерпцам» (ибо они жестоко терпят от своих собственных страстей) — мне нечего сказать. Я, как человек, гражданин и исследователь — непартиен, никогда ни к какой партии не принадлежал и принадлежать не буду. Я вижу не только духовные преимущества монархии, но и ее своеобразные трудности и опасности; и не считаю возможным что-нибудь замалчивать или идеализировать. Однако я вижу и все опасности республики, а также и положительные основы республиканского образа мыслей, пытающегося высказать некоторые основные аксиомы здорового правосознания, которые в истории нередко забываются монархистами. Всё это необходимо установить и формулировать с полной объективностью и беспристрастием, к чему нам и надлежит приступить.

До этого необходимо, однако, разъяснить *методологические* затруднения, с которыми нам пришлось считаться.

Дело в том, что юрист должен исследовать два совершенно различные предмета : закон, как правило (норму), как отвлеченное предписание; и *жизненное явление*, то предусмотренное, то непредусмотренное этим правилом. Закон есть *мысль о юридически верном и правильном*; эта мысль выражена в словах; слова записаны или напечатаны на бумаге; в мыслях и словах выражено правило внешнего, общественного поведения; а в этом правиле указано — *каким людям* (обозначенным общими родовыми признаками) какие именно *внешние поступки* — *предписываются, дозволяются или воспрещаются* (« должно », « можно » и « нельзя »). Например, здоровый мужчина — 21 года — обязан отбыть воинскую повинность; граждански-полноправный человек может покупать вещи и продавать их; измена родине наказуема и т. д. Смысл закона всегда приблизительно таков : « в случае, *если* окажется человек с такими-то состояниями, свойствами или поступками, то надлежит признать за ним такие-то полномочия, обязанности и запретности ». *Если ... — то...* А что такой человек в действительности есть, фактически « *имеется* », — и кто он, и где он, и когда он, и как его зовут, — об этом в законе обыкновенно *ничего* не говорится, и это « *если* » может никогда и не осуществиться...

С другой стороны, *жизненное явление, истори-*

ческий факт — возникает, развивается и составляет, не на основании правового закона, не в силу правовой нормы, а в силу «естественных причин»; иными словами — это происходит по «законам» дурной или благой человеческой или вещественной природы (греческие мыслители выражали это термином *phusei*), а не по нормам правовым или государственным (*nèsei*). Нормы «распоряжаются»; стараются предусмотреть возможное и урегулировать его, снабдить могущее наступить явление (например, *состояние сумасшествия*, *свойство* — мужской пол, *поступок* — удар, подпись, волеизъявление, или *событие природы* — действие огня, воды, бури и т. д.) определенными *юридическими последствиями*. А события, «не спросясь у норм», возникают, развиваются, длятся и кончаются по законам «причинной необходимости», независимо от того, были они предусмотрены правовыми нормами и «уловлены» ими с их «юридическими последствиями» или нет.

Итак, правовые нормы имеют юридическое значение, независимо от потока явлений или от фактов; а поток явлений и фактов — слагается и несется, образуя живую жизнь независимо от правовых законов. Есть состояния и деяния, *предусмотренные* законом, например, вот эта кража, эта покупка земельного участка, это заседание парламента, это монаршее повеление. Но есть состояния и деяния, *непредусмотренные* законом, например, обратная кража чужой украденной вещи, у самого вора, для возвращения ее собственнику; или кража помещиком своей собственной

курицы у захвативших его имение коммунистов; или собрание депутатов в зале Jeu-de-рауме во время французской революции, а также выборгское заседание распущенной первой Государственной Думы (1906); или отречение Императора от престола, непредусмотренное русскими основными законами... Далее, есть много деяний и явлений, предусмотренных законами и *подпавших* юридической квалификации (например, убийца был разыскан, судим и наказан); но есть много явлений и деяний, хотя и предусмотренных законом, но *не подпавших* под юридическую квалификацию; или *еще* не подпавших, например, убийца еще не обнаружен и давность еще не истекла, или *уже* не подпавших, например, убийца умер и унес тайну своего преступления в могилу...

Замечательно, что именно в суде и в политике непредусмотренный поступок иногда не только получает правовое значение, но становится примером, образцом для целого ряда других таких же поступков, получающих в силу этого правовое значение. Возникает особая «вне-законодательная правомерность», которая утверждает себя сначала как «наилучшую возможность», потом признается всеми за полновесное право и наконец, может быть, даже начинает противоречить закону, отодвигая его или постепенно лишая его прежней полновесности. История государственных учреждений знает множество случаев, когда *политический обычай* отодвигал или обессиливал *публично-правовой закон*. Таков, например, весь английский парламентарный строй. То, что ни в каком законе не установлено, соблюдается всеми,

как обязательное, настолько, что оно оказывается в жизни прочнее, чем многое установленное в законе. Оказывается, что права английского короля *по закону* и его права в порядке *политически ведущегося строя* — различны. Три главные принципа английского парламентаризма, ограничивающие права короля — *внезаконны*, но считаются *государственно связующими и обязательными*: 1. король обязан утвердить законопроект, принятый обеими палатами; 2. король обязан удалить министров, потерявших «доверие» нижней палаты и назначить новый кабинет, главою коего будет один из вождей оппозиционной партии; 3. повеления короля должны быть контрасигнованы премьер-министром. Между тем по строгому смыслу английских законов король имеет право не созывать нижнюю палату, уволить всех чиновников, распустить армию, объявить войну, унижить страну позорным миром и т. д. (См. об этом у Дайси, Беджгота, Сиднея Лоу, Ансона, Ресселя; особенно формулы лорда Брума и Гладстона). Оказывается, что *юридически установленное* может быть *политически неосуществимым*, ибо не найдется министра, представляющего большинство в палате общин, который согласился бы контрасигнировать такие указы.

3

Немалые затруднения возникают также из того обстоятельства, что бывают законы, утвержденные в данной стране, но не нашедшие себе политического применения. Такова, например, неосуше-

стившаяся конституция Кромвеля от 1647 года; такова же знаменитая французская революционная конституция от 1791 года, изучаемая во всех учебниках и ученых трактатах, но никогда не применявшаяся в действительности... Она вводила своеобразную ответственность короля (утрата трона) за известные его поступки и деяния. К разряду таких явлений относятся и те «условия», которые были поставлены Анне Иоанновне Верховным Тайным Советом в 1730 году. Их текст заканчивался словами: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то *лишена буду короны российской*». Известно, что Анна *подписала* в Митаве эти условия, ограничивающие права монарха в России; они получили значение конституционного акта, но затем в Москве были ею же отменены через несколько дней: то была «конституция» утвержденная, но не введенная, не давшая государству своей жизненной формы...

Оказывается, что конституционные нормы определяют иногда права монарха совсем иначе, чем они осуществляются в политической жизни. «Иметь право» — не значит фактически быть в состоянии сделать что-нибудь. Монарх по закону «может» многое, чего он *не может* в действительности; и наоборот. Это означает, что методологически следует изучать *законы* и их состав — *отдельно и сначала*; это создаст так называемую «догму права», в силу которой отличие монархии от республики будет *одно*. А потом надо изучать *отдельно политический состав исторических фактов*; это даст политическую историю, историю государственных учреждений; и тогда

быстро окажется, что отличие монархии от республики будет совсем *другое*. Ясность и строгость ученой мысли будут осуществлены, но единый критерий отличия будет утрачен.

К этому необходимо добавить, что писанные конституции, отчетливо трактующие права монарха, суть явление сравнительно *позднего времени*. В Средние века государственный строй слагается и держится гораздо более религиозной санкцией, политическим импонированием, традицией, естественностью сана, обычным правом. Это испытывается не как противозаконие, а как *законность незаписанного обычая*. Вследствие этого оказывается невозможным определить, где имеется простой факт (например, раздел империи Карла Великого), и где факт, начинающий собою образование «прецедента»; и где устойчивый прецедент, где случайная натяжка в ссылке на обычное право, и где действительно сложившийся и обязательный для всех политический обычай. На исследователя сыплется поток фактов, проблематических в их юридическом значении, и он не знает, регистрировать их или пройти мимо этого бытового злоупотребления, и если регистрировать то — как определение закона или как правовой факт?

Затруднения становятся величайшими, если привлечь историю Китая, Индии, монголов, южноамериканских государств, древней эпохи и нового времени, историю Византии, древней Греции, языческого Рима и Возрождения (эпоха тиранов) ... Различие между законом, политическим обычаем и голым фактом силы или власти — становится

совершенно неуловимым. Например, римские императоры — не то монархи, не то тираны, не то « избранники », не то узурпаторы — нисколько не являются президентами республики; они сменяют друг друга — не то назначаемые, не то наследующие, не то провозглашаемые армией, не то всходящие на престол в порядке завоевания (или *своей страны, или чужой*); и исследователь не может установить, что́ перед ним — публичное право, политическое событие, катастрофа, революция или развязка гражданской войны, правило или исключение, здоровое исключение или болезненное, случай или сущее безобразие...

Словом, исследователь, пытающийся научно отличить монархический строй от республиканского, монархию от республики, монарха от президента, — или прибегнет к *умолчанию*, к *произвольному выбору материала* и выдвинет спорный или несостоятельный критерий, или же прямо признаёт, что ему не удастся найти такое отличие, что оно условно, искусственно, что его нет. Ибо ученый не может удовлетвориться наблюдательным, но наивным замечанием одной маленькой девочки, которая уверенно отличала государя от президента по одежде : государь всегда в военном, а президент в штатском...

Таковы те великие затруднения, о которых я должен предупредить читателя с самого начала.

Ч А С Т Ь I

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Формальные черты монархии

1

Современная юриспруденция, в своем школьном трафарете, пытается отличить монархию от республики по правовому положению верховного государственного органа. Обычно считается, что верховный орган государства есть тот, который имеет право принимать решающее участие в законодательстве и в управлении, а до известной степени и в организации правосудия. И в монархии, и в республике этот орган является *единоличным*: единственная персона монарха и единственная персона президента. И вот, если права этой персоны *наследственны*, длятся *бессрочно* или *пожизненно* и сама сия персона не подлежит за свои действия *ни ответственности, ни санкции*, то сие есть *монарх*, а строй, возглавляемый им, есть *монархический*. Если же права этой персоны приобретаются на основании *избрания*, если они

ограничены определенным, заранее установленным сроком и сама сия персона за свои действия формально ответственна, то перед нами *президент и республика*.

При сопоставлении этого определения с политическим материалом человеческой истории, придется признать, что признаки эти отличаются устойчивостью только тогда, если мы условно и искусственно выделим писанные конституционные законы девятнадцатого века, если мы отвлечемся от всех жизненных и политических осложнений того же времени и пренебрежем всей остальной историей. Любопытно, что партийные политики оставляют это обстоятельство без внимания и тем обеспечивают себе тот ограниченный кругозор и ту политическую страстность, которые столь вредны для дела. Люди уже не видят ни богатства переходных форм, которыми изобилует история, ни принципиальную невозможность навязывать всем странам один и тот же государственно-политический трафарет как якобы «наилучший», ни тех глубоких *духовно-реальных* свойств, которые отличают монархический строй от республиканского. И вот, партийное ослепление и партийная страсть превращают легкомыслие в ожесточенность и гонят ожесточенность в объятия легкомыслия.

В противовес этому надо признать, что при тщательном историческом изучении отличие монархии от республики растворяется в целом множестве неуловимых переходов и нахождение единого и определенного формального критерия представляется неосуществимым.

Так, прежде всего *единоличность* верховного государственного органа не подтверждается ни в республиках, ни в монархиях.

В *республиках* во главе государства стояло нередко не одно лицо, а два лица или целая коллегия. Известно, что в республиканском Риме государство возглавлялось не одним консулом, а *двумя*. Консулы же эти, говоря словами Цицерона, «были облечены царской властью (*regii imperii*)». Только *коллегиальностью* и *срочностью* своей царской власти, замечает В.И. Герье¹⁾, отличались они от царей. Это «*полновластие, бесконтрольное* в пределах известного срока или, позднее, известного круга действий, оставалось отличительной чертой римской магистратуры в течение многих веков. Когда затем интересы народа потребовали дальнейшего ограничения консульской власти, то власть их была подвержена этим ограничениям только дома, в самом городе или внутри известной черты, около городских стен; когда же консулы выходили из этого круга на войну, они опять пользовались *царским полновластием* над гражданами (*imperium*). Римские консулы являлись как бы *двумя республиканскими полу-царями*, из коих ни один не был царем и оба были срочными республиканскими чиновниками. История знает не мало республик, во главе которых стоял не единоличный президент, а коллегиальный орган: и в древней Греции, и в Италии эпохи Возрождения. Вот «директория» французской революции. Вот русская семи-

боярщина в Смутное время. Вот современная Швейцария, во главе которой стоит Союзный Совет (Bundesrat); председатель же этого органа является лишь срочным возглавителем Совета, а не президентом республики (по Иеллинеку — не «Staatshaupt», а лишь «Spitze des Staates»). Гастон Буасье пишет об Октавиане Августе: «Если верить одной внешности, то можно было бы подумать, что властелином был в то время Сенат, а государь только исполнял его декреты. В этом именно Август и хотел всех уверить» 2).

Итак, *единоличие* верховного органа не характерно для республики.

Но оно не решает и вопроса о монархии, ибо история знает множество случаев, когда в одной стране, в *одно и то же время* был не один монарх, а два и более.

Иногда это наличие двух или нескольких царей или императоров имело характер болезненный или катастрофический; это было не явление порядка, а явление дезорганизации. Например, в конце II века, при Галлиене, перед лицом напирających варваров провинции сами стали избирать себе императоров, думая защищаться самостоятельно; было тридцать императоров в одно время 3). Тацит рассказывает, что в эпоху римской империи все были против унаследования престола по крови. Диоклетиан предложил, чтобы два наличных Августа усыновляли себе *двух* Цезарей, но из этого ничего не вышло. Однако через несколько лет появилось шесть или семь императоров, которые настаивали каждый на своем полноправии и боро-

лись друг с другом до тех пор, пока в живых остался *один* 4).

Но двоецарствие и многоцарствие мы видим и в нормальном порядке. В Спарте было нормально два царя, но аристократия держала их в приниженности и они были только простыми членами сената. Именно поэтому они искали себе опоры у народа и хотели возвыситься через освобождение гелотов. Далее, еще римские императоры ввели «со-правление» преемников престола: наследники имели полномочия царей. В Византии в IX веке Роман Диоген, женившись на регентше, Евдокии Макремболитиссе, дал письменное обязательство признавать своими соправителями всех трех сыновей Константина Дуки — Михаила, Андроника и Константина. В официальных документах ставились подписи *четырех* царей 5). Вообще, в Византии наследники, даже малолетние, именовались (по римской традиции «со-правления») — царями; царей могло быть сразу два и три 6).

Историки подчеркивают, что частые деления царства при династии Меровингов (V и VI века) касались не царской *власти*, которая оставалась *единой*, а управляемых территорий. Каждый из участвующих в разделе царствовал по праву над *всеми* франками и другими народами, но заведовал какой-нибудь одной провинцией. Каждый из нескольких королей был подлинный «*rex francorum*»; единственным царем он становился только в случае консолидации, но годом его воцарения считался тогда не год его единственного царствования, а год его «множественного» восшествия на

престол 7). В то время различали — « назначенных » царей (*rex designatus*) и « освященных » царей (*rex consecratus, sublimatus*); последние имели более полные права; по отношению к правящему королю освященный король назывался « junior » (младший) и считался « *roi associé* »; мало того, он составлял с ним вместе « *единого суверена в двух лицах* » 8). При династии Каролингов наследник тоже называется *roi associé* или по латыни *consors*; например, при старшем брате (*sub seniore fratre*), который имеет « *majorem potestatem* », младший всё же пользуется « *regali potestate* » 9). Королевская власть едина, а королевей несколько. То же мы видим и при короле Гуго Капете, который через несколько месяцев после своего коронования назначил королем и торжественно короновал своего сына Роберта, который стал « *consors regni* », « *co-souverain* » 10). Один министр Людовика XVIII говорил наследнику графу д'Артуа : « Трон не диван, но кресло, где есть место только для одного лица ». В X и в XI веке было иначе : два порядка лиц принимали здесь участие, хотя и в различной степени — семья короля и княжеские пэры 11).

История России также знает двух равноправных царей : Иоанна Алексеевича (Иоанн V, от Милославской) и Петра Алексеевича (Петр I, Великий, от Нарышкиной); они имели общий, единый, двухместный трон и общие официальные приемы, при регентстве сестры их Софии.

Таким образом, нельзя признать *единоличность* верховного государственного органа как присущую всем республикам и всем монархиям.

Далее, напрасно было бы думать, что монарх вступает на престол всегда по праву *наследия*, а президент всегда *избирается*. История знает многое множество *избранных государей* и всё время сообщает нам о монархах, вступивших на престол *не* по наследству и *не* по избранию.

В первоначальный период гражданской общины, повествует великий знаток ее Фюстель де Куланж, « жречество было наследственно, а вместе с ним и власть ». « Впоследствии... настало время, когда наследственность перестала считаться за правило... ». « В Риме же царская власть *никогда не была наследственна*, а это произошло оттого, что Рим сравнительно недавнего происхождения и основание его совпадает со временем упадка значения царской власти повсюду » 12).

Когда в 222 году до Р.Х. македонцы реставрировали в Спарте аристократию, свергнув Клеона, то сделалась смута, затем посадили царя, *выбрав* его из царского рода, чего до тех пор никогда не бывало в Спарте. Этот царь, по имени Ликург, « два раза свергался с трона; в первый раз — народом за то, что он отказывал в разделе земель, а во второй раз — аристократией по подозрению, что он желает устроить этот раздел » 13).

В VII веке в чешские короли был *избран* Само, которому удалось отразить аваров и франков и положить прочное начало чешскому королевству (627 г.).

В течение VII и VIII веков, когда происходило

амальгамирование пришлых германцев с коренным населением Европы, установилась вместо прежней избирательной системы наследственная королевская власть в одном роде по прямой линии, причем подтверждение власти короля народным собранием сделалось простой формальностью. В средневековой Европе « даже в эпоху Меровингов, когда королевская власть в самом деле стала наследственной, выборы сохранились по крайней мере в виде восклицаний народа или магнатов и в виде поднятия на щит ». Эта избирательная традиция признавалась и самими королями : « глас народа » (vox populi) считался « гласом Божиим » (vox Dei) и святой Abbon de Fleury (ум. в 1004 г.) в своих канонах провозглашает такое избрание прямым источником власти : трое избираются — король (или император), папа и аббат, причем первое избрание « facit concordia totius regni » 14).

« Строго говоря, ни при Каролингах, ни при первых Капетингах не было права наследования даже у ближайших членов королевской семьи ». Короли должны были быть *избраны*, предпочтены, но именно из этой династии (разве только, если эта династия не имела ни одного « достойного или способного править »); и лишь постепенно, в порядке обычного права из этого возникло « право наследования » 15). При первых Капетингах король совещался о наследнике с магнатами, потом совершал свой выбор (le choix), а за ним следовало назначение (designatio) при содействии тех же магнатов 16). Народ же, люди «меньшие» (minores), низшие вассалы и простые подданные ограничивались тем, что « восклицали » или « аттестовали »

на торжестве коронации 17). Впоследствии Наполеон Бонапарт говаривал в государственном совете: « Je n'ai point usurpé la couronne, je l'ai relevée dans le ruisseau; le peuple l'a mise sur ma tête; qu'on respecte ses actes! » 18).

Замечательно, что после последнего немецкого Каролинга (Людовик-Дитя, начало X века) в Германии установился *избирательный* порядок престолонаследия, что повело, конечно, к усилению феодалов и к ослаблению королевской власти (избрание слабого герцога франконского Конрада I). В XIII веке, после Гогенштауфенов, во время междуцарствия (1254-1273), в эпоху полного самоуправства (Faustrecht) князья нарочно стали избирать « императоров » из чужеземных принцев и государей, например, Альфонса X Кастильского или Ричарда Корнваллийского, которые носили заочно титул, а в Германии не жили. Потом — выбрали « для слабости » Рудольфа Габсбургского (1273), показавшего неожиданно силу и власть; за ним — Адольфа Нассауского и сына его Альбрехта I, которые тоже разочаровали интригующих избирателей своей политикой.

Не забудем, что две великие средневековые монархии, Империя и Папство, вообще были избирательными.

В XIII веке в Кастилии и Арагонии господствовала избирательная система; престол замещался по выбору, что вело к частым смутам и к неудачам в борьбе с маврами.

В XIV веке историки отмечают ослабление императорской власти в Германии: нарочно выбира-

ют слабых императоров, меняют династии. Правом избирать пользуются семь князей-курфюрстов: архиепископы Майнца, Кельна, Трира, король Богемский, маркграф Бранденбургский, герцог Саксен-Виттенбергский и пфальцграф Рейнский. Так гласила Золотая Булла Карла IV (1356), согласно которой курфюрсты получили право верховного суда, право монеты, право наследственной и неотъемлемой собственности на свои владения. Германия раздробляется, империя и император начинают превращаться в фикцию. Тот же XIV век показывает нам ослабление королевской власти во Франции (феодалы !) и в Англии (парламент !).

В Византии монархия теоретически и практически считалась *выборной*, а не наследственной. Право на престол имел *всякий свободный человек*. Предполагалось, что царь избирается сенатом и народом; но сенат превратился в пустой звук, народ же не имел никакой организации. Закона о престолонаследии и быть не могло. Заговорщик, которому удавалось заручиться содействием войска и завладеть дворцом — признавался сановниками и бывший мятежник оказывался царем (9). Так, Юстиниан Великий (527-565) был избран византийским императором гвардией из начальников царских телохранителей.

В Польше со второй половины XIV века и весь XV век шел процесс усиления аристократии и дворянства (шляхты). По прекращении династии Пястов водворился *избирательный* порядок престолонаследия. Владиславу III Ягеллону и Казимиру IV Ягеллону прямо ставились условия — утверждение привилегий; а указы и законы коро-

ля получали силу только с согласия дворянства.

Россия знала различные порядки приобретения престола: избрание князя на вече, завоевание княжества силою 20), захват княжества посредством убийства соперника, наследование удела, покупку удела, назначение ханским ярлыком. Позднее императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина Алексеевна — были не то « избранны », не то « провозглашены », не то возведены на трон дворцовым переворотом. Строгий порядок престолонаследия водворился в России, как известно, только после Павла I.

Подведем итоги. История знает помимо наследственных монархов — *избравшихся* государей (то народом, то знатью, то другими государями). Она знает царей *возводившихся на престол национальной армией* или ее отдельными легионами (римские цезари после Августа, византийские цари), а также наемной армией из чужестранцев (например, в последние 20 лет западной римской империи с 455 до 476 года, когда германский предводитель севов Рицимер *возвел в императоры и низложил восемь человек*, а его преемник Орест *возвел на престол своего сына Ромула Августула, именем коего он и правил*). Мы видим, как князья *покупают* себе титулы у императоров (XIV век), и как императоры Карл V и Франциск I *подкупают* на выборах князей и герцогов. Юлий Цезарь подкупал всех, кто был готов продать себя; и однажды в Лукке в его приемной было насчитано таких продажных — 200 сенаторов и 120 ликторов 21). Мы видим в Афинах царей, назначавшихся *по жребию*; и видим через всю

историю государей, захватывавших царскую власть *силою оружия* (эпоха Возрождения в Италии, Дмитрий Самозванец, Наполеон I, Наполеон III и множество других). Мы видим и государей, *назначенных чужеземным завоевателем* (например, ханские «ярлыки» в России). Бывали в истории и такие явления, когда государь приобретал трон в порядке брака или персональной унии. Так, в 1397 году единственная дочь датского короля Вольдемара III Маргарита, жена норвежского короля Гакона VII, имевшего права и на шведский престол — соединила на себе *три короны*. Сейм в Кальмаре установил договор (унию), согласно которой Швеция, Норвегия и Дания соединялись навеки под державою датских королей. Уния эта просуществовала весь XV век с немногими перерывами...

Итак, порядок наследования по закону и по родству не является устойчивым признаком монархии. Наряду с этим голландские резиденты были *наследственны и пожизненны*, но не были монархами.

4

Верховенство царской власти также не является ее постоянным признаком.

Правда, в современной теории можно найти такое утверждение, что монарх есть лицо, которое принимает *решающее* участие в осуществлении верховной в государстве законодательной и пра-

вительственной власти; монархическое государство не может иметь ни в области законодательства, ни в области управления легальной воли, которая не была бы в то же время легальной волею монарха. Но если мы обозрим историко-политический материал законов и событий, то мы увидим, что история изобилует царями, королями и императорами — *зависимыми, ограниченными, политически бессильными, юридически подчиненными, завоеванными, покоренными, приравненными к государственным чиновникам или управителям.*

Так, еще в древней гражданской общине « главы родов... каждый порознь — оставался полным владыкой своего рода, где он как бы царствовал » 22). Царь не был единственным царем, каждый pater был таким же царем в своем роде (gens). В Риме был даже обычай называть каждого из могущественных патронов — « царем ». В Фивах у всякой фратрии и трибы имелся свой особый глава и наравне с царем гражданской общины были цари отдельных триб (philobasileis) 23). В спартанском же сенате, где заседало 28 человек по выбору из высшего класса « равных » — « цари были только простыми членами » 24).

Когда Рим посылал своего представителя управлять определенной провинцией, то он вручал посланнику « imperium »; « это значит, что он отступался в его пользу на определенное время от своей верховной власти на эту страну. С этой поры гражданин этот совмещал в своем лице все права республики и в силу этого являлся полным властелином » — и в законодательстве, и в управ-

лении, и в суде. Это были *чиновники-монархи* в пределах республиканского Рима, *монархи абсолютные*, но только впрямь до отозвания 25).

История знает наряду с этим и такие сложные явления. Когда Одоакр, вождь герулов и ругов, свергнул с престола западной римской империи малолетнего императора Ромула-Августула (начало средних веков), то он отослал знаки императорской власти императору восточной римской империи Зенону, а сам управлял Италией совершенно самостоятельно в качестве «патриция» или «наместника», принимая еще титул «короля Италии» или «короля герулов и ругов», сохраняя сенат и консулов. Был ли он суверенным монархом?

Последние Меровингские короли, раздав баронам свои домены в жалование, теснимые «палатными мэрами» или «майордомами», сохраняют лишь *номинальную власть* и все владения их сводятся к одной вилле; в короле читается только освященный титул и древнее происхождение; он появляется раз в год на «мартовских полях» (законодательное и судебное народное собрание), где принимает подарки и раздает бенефиции по указанию майордомов. Так идут дела до воздвижения майордома Пепина Геристальского (687 г.), от коего в VIII веке начинается династия Каролингов.

Подобная же участь постигла впоследствии и выродившуюся династию Каролингов. «*Les ducs, comtes et dynastes paraissent plus que les égaux des rois, ils sont leurs maîtres*». В 881 году Хинкмар говорил Людовику III и Карломану в глаза: «vous

régnez de nom plutôt que d'effective puissance » (« ut nomine potius quam virtute regnetis ») 26).

В начале IX века в Англии началось объединение семи англосаксонских королевств. В 827 году Эгберту, королю Вессекса, удалось подчинить себе все остальные королевства. Все эти *второстепенные короли* признавали над собою верховную власть короля Вессекса, как своего верховного сюзерена. Это объединение завершилось при Альфреде Великом (871-901).

Во Франции в IV веке главы разных народов — Аттуариев, Брюктеров, Шамавов, Амписвариев, Каттов — были *подчиненными королями*: « des rois en sousordre, subreguli, regales, principes »; глава же Салийцев был *верховным королем*, настоящим « rex Francorum ». Он выбирался из колена Меровингов; отсюда и пошло объединение Франции под Меровингами и Каролингами, которые стали приписывать себе « un pouvoir surnaturel ou mystique » 27).

История отмечает целый ряд случаев, когда папы, для водворения в какой-нибудь стране католичества, *отлучали* короля или весь его народ от Церкви и тем содействовали завоеванию страны и низложению короля. Так было с избранным и популярным королем Гаральдом при вторжении герцога нормандского Вильгельма Завоевателя (1066 г., битва при Гастингсе), который в дальнейшем платил Риму дань, не принося ленную присягу. Так папа Иннокентий III (1198-1216) проклял английского короля Иоанна Безземельного, который был вынужден признать себя *вассалом папы*

и платить ему ежегодную дань. Так папа Григорий VII отлучил германского императора Генриха IV (1056-1106), которому пришлось ехать в Каноссу и униженно просить прощения, с тем, чтобы получить от папы «прощение», но не корону, которую ему пришлось завоевывать себе самостоятельно в борьбе с феодалами и посредством низложения Григория VII.

О каком «верховенстве» монарха можно говорить, если он с каждым из более могущественных сеньоров должен отдельно уговариваться о количестве подати, налагаемой на его территорию? 28).

Графы и Маркграфы эпохи Карла Великого, «наместники» его, имеющие военную, гражданскую и судебную власть и контролируемые через «Зендграфов» (*missi dominici*) — являются несuverенными монархами.

Вторжение короля германского Оттона I Великого в Италию (962 г.), его расправа с Бернгаром Иврийским и его коронавание в Риме императорскою короною поставили всех феодалов Италии в положение несuverенных монархов.

В таком же положении оказались все «короли» Англии под властью верховного короля Эдуарда Старшего (924 год).

Во Франкском королевстве X и XI веков королевская власть была ограничена и подвержена контролю: это была «интервенция» вассалов, необходимая для всех важных актов королевской власти 29).

В XIII веке в испанской Кастилии гранды считали себя равными королю и покрывали свои головы в его присутствии; а городским кортесам

(думам) *короли присягали в соблюдении всех народных прав и привилегий*, нарушение коих освобождало народ от его присяги королю. Эти кортесы имели даже *право veto* и *право вооруженного восстания*.

В XIII же веке во Франции Капетингам пришлось вести настоящую борьбу с феодалами за свой королевский суверенитет — при помощи парижского парламента (с его легистами) в качестве верховного королевского судилища (Филипп II Август, Людовик IX Святой, Филипп Красивый)

Людовик XI (1461-1483) восстанавливал суверенитет французского трона мерами гораздо более прямыми и жестокими.

Нельзя исчислить все исторические примеры. Вспомним только еще положение русских князей под игом татар (около 250 лет), приведем указание Тэна на то, что Наполеон I господствовал над тридцатью государями Европы 30) и признаем, что *монарх может не иметь верховной власти в своей стране*. Признаем еще, что права президента в Соединенных Штатах Северной Америки столь обширны, что многие принцы и короли в истории были бы счастливы их иметь и почитали бы себя на высоте королевской власти.

5

Наконец, нельзя сказать о монархе, что полномочия его бывают всегда *бессрочны* и *пожизненны*. Правда, нелегко найти в истории монарха, который занял бы престол на заранее определенное число лет. Однако историки повествуют нам

о том, что один из замечательнейших государей Рима, Октавиан Август, принял и утверждал свой «принципат» как *срочный*. «Республиканская сторона принципата выражалась прежде всего в *срочности* власти Августа»: полномочие могло или «само угаснуть» или же Август мог отречься по собственному усмотрению. «Можно думать, что Август придавал последний смысл своим срокам» 31). В Афинах в борьбе с эвпатридами цари утратили сначала политическую власть и сохранили только жреческие права. Они назывались «архонтами» и были *наследственны*. Но через три века эвпатриды ввели дальнейшие ограничения: власть царей *осталась династической*, но срок полномочий их был определен *в 10 лет*. Тот же процесс отмечается в Аргосе, Кирене и Коринфе 32).

Историки России повествуют нам о том, как в старину вече низлагало и изгоняло князей, изменяло им, тайно приглашая на их место нового князя, причем «перемена князя нередко соединялась с грабежом его двора» и речь какого-нибудь «неизвестного витии» могла «увлечь» массу и «к политическому убийству» 33). Возможно, что нечто подобное найдется еще и в каком-нибудь другом «месте» истории. Но гораздо существеннее то обстоятельство, что бессрочность монарших полномочий слишком часто прерывается *внеправовым и противогосударственным* способом, ибо история насчитывает такое число *удаленных, свергнутых, бежавших, убитых и растерзанных* государей, что поименовать этих мучеников, по видимому, невозможно.

Так, эфоры в Спарте то и дело изгоняли царей за их попытки провести реформу в пользу гелотов : классический конфликт между царем, пекущимся о народе, и привилегированным слоем, отстаивающим свой классовый интерес. Мы уже отмечали, что в III веке спартанский царь Ликург был свергнут дважды. Спартанский царь Агас, внесший в сенат законопроект об уничтожении долгов и о разделе земель, уволивший несогласных эфоров и назначивший других, правивший целый год террористически, — не успел поделить земли : его искусно обвинили и умертвили. На царя Клеомена, действительно проводшего народную реформу, аристократия призвала македонского царя Антигона Дозона, который победил и изгнал Клеомена (222 г. до Р.Х.) 34). За попытки реформы был убит и спартанский царь Павсаний... « Можно сосчитать, как велико число царей, изгнанных эфорами » 35).

В своем трактате « *Candide ou l'optimisme* » Вольтер дает сначала краткий перечень *свергнутых* царей (Ахмет III, Иван VI Антонович, Карл Эдуард Английский, Август Польский, Станислав Лещинский, Теодор Корсиканский; список случайный и далеко не исчерпывающий); а потом столь же неисчерпывающий список *убитых* государей : Эглон, царь Моавитский; Авессалом; Надаб, сын Иеровоама; Эла; Охозия; Гофолия; Иоахим; Иехония; Седекия; Крез; Астиаг; Дарий; Дионисий Сиракузский; Пирр; Нерсей; Аннибал; Югурта; Ариовист; Цезарь; Помпей; Нерон; Оттон; Вителлий; Домициан; Ричард II; Эдуард II; Генрих VI; Ричард III; Мария Стюарт; три Генриха

французских; Генрих IV. Стольких сумел исчислить Вольтер. История, увы, знает гораздо больше.

Об астраханских хазарах рассказывают, что верховная власть принадлежала у них Кагану, но управляло другое лицо — Бег (правитель). Во время бедствий и неудач знатные и незнатные собираются к Бегу и говорят ему, как повествует Масуди: «Этот каган и его жизнь приносят нам несчастье; мы считаем это дурным знамением; умертви его или выдай нам, чтобы мы его умертвили». Каган, по-видимому, должен был иметь особую милость Божию; к нему подходили со знаком величайшего благоговения и повиновались ему во всем, даже если он приказывал кому-нибудь убить себя 36).

Это напоминает сообщения Светония 37) и Сенеки 38), что у древних народов за проигранное сражение «обвиняли богов»: их упрекали в том, что они плохо выполнили свою обязанность защитников города; иногда дело доходило до того, что опрокидывали их алтари и бросали камнями в их храмы 39). Подобную же расправу над статуями святых современные историки отмечают и в христианском Неаполе 40).

Поль Фукар 41) передает, что в Афинах, недалеко от Элевзиния, были воздвигнуты статуи тираноубийцам.

Из первых царей в Риме, числом 7, четверо (первый, третий, пятый и шестой) были убиты патрициями (Ромул, Тулл Гостилий, Тарквиний Приск, Сервий Туллий); последний же, Тарквиний

Гордый, был изгнан ими и бежал к царю этрусков Порсене 42).

При убиении Юлия Цезаря в сенате было 60 заговорщиков, а присутствовало 800 сенаторов; Плутарх рассказывает, что большинство их служило в его войсках и было обязано ему честью заседать в Курии. « И эти презренные смотрели на его убиение не говоря ни слова » 43).

В. И. Герье пишет: « На востоке цари — по крайней мере сыны Неба; религия и касты их охраняют; где же были в Риме те оплоты, которые могли бы защитить воздвигнутый престол? В этом мире, столь давно проникнутом идеями равенства, никто не принимал серьезно апотеозу государя и он остается без жрецов, без дворянства, одинокий, в виду 80 миллионов людей ». Отсюда « двойная опасность: на такой высоте, где он видит весь мир у своих ног и где он стоит так близко к богам, голова его легко может закружиться; с другой стороны, чтобы взобраться на эту высоту, заговорщикам достаточно лишить жизни одного человека. Оттого-то в ряду римских императоров от Августа до Константина так много безумных и так много жертв. Из 59-ти — две трети или 41 погибли насильственной смертью » 44).

Летом 383 года император Грациан был убит одним из своих полководцев, Максимом, который в Галлии заставил провозгласить себя императором 45).

В самый 391 год, в год появления ужасного запретительного противоязыческого закона — один язычник, граф Арбогаст, восстал против Валентиниана II, убил его и на его место посадил очень

умеренного православного риторa Евгения. Но победа Феодосия опять объединила всю империю 46).

С половины VIII века на престол Дамаска вступила новая династия Аббасидов в лице Абуль-Аббаса (750 г.); он избил всех членов династии Омайядов, кроме Абдеррахмана, который бежал в Испанию и основал там Кордовский Халифат (расцвет его уже в X веке).

Вспомним еще, как коварно « майордом » Пепин Короткий, по соглашению с папою Стефаном, низложил последнего Меровинга — Хильдериха III и заключил его в монастырь, получив от папы санкцию на узурпацию. Карл Великий был его сыном (768-814). Вспомним, как франки свергли своего короля Карла Толстого (887) за его недостаточную воинственность. Вспомним судьбу византийских царей.

В самом начале VII века византийским престолом насильственно завладел Фока (602-610), грубый солдат, дослужившийся до сотника, со свирепым характером. Он убил не только свергнутого им императора Маврикия, но и пятерых его сыновей и стал править террором. Через 8 лет он сам был свергнут византийски-африканским полководцем Ираклием; он спрятался в храме, был найден, растерзан толпою и сожжен на площади Тавра 47).

Через 75 лет после Фоки византийский народ « испытал власть » не менее жестокого Юстиниана II. Он не пощадил родной матери и даже ее подверг нещадному телесному наказанию. Кончил он « так, как обыкновенно кончали тираны, был свергнут с престола и убит » 48).

В 797 г. в Византии император Константин VI, внук Константина Копронима, был свергнут с престола и ослеплен своей матерью Ириной, которая и вступила вместо него на престол. Папа Лев III не признал ее и короновал в 800 году Карла Великого — императором.

Было бы, однако, ошибкою полагать, что византийцы свергали и терзали только дурных и жестоких царей на подобие Фоки, Исаака Ангела или Андроника Комнина. В конце X века свергли замечательного государя Никифора Фоку, который требовал неподкупного правосудия, ограничивал придворные траты, берег казну, но увеличивал налоги и ограничивал доходы монастырей. Уличная толпа издевалась над ним и бросала в него камнями; а жена его Феофано сошлась с генералом (армянином) Иоанном Цимисхием, который сверг Никифора и отдал его толпе на муки и издевательство 49).

В 1268 году, 28 октября, Конрадин Гогенштауфен пал от руки убийцы 50). Филипп IV французский был едва спасен от расвирепевшей черни (1304 г.)... Иаков I, король Шотландии, был убит аристократами-заговорщиками в 1437 году за заключение союза с Францией. Генрих III, король Франции, был убит (1589 г.) католическим монахом Жаком Клеманом после того, как Сорбонна постановила о нем, что государя «не исполняющего своих обязанностей» можно лишить власти. Карл I, король английский, был публично обезглавлен революционерами в 1649 году. Но исчислить все подобные свержения, нападения на государей и убийства нет возможности.

Упомянем только государей, наследников и членов династий, убитых после французского короля Людовика XVI (1793) и его племянника, сына Карла X, Шарля Фердинанда дюка де Берри, которого заколол в 1820 году фанатик бонапартист Луи Лувель. Последние слова убитого были: «Grâce pour la vie de l'homme!»... К дважды свергнутым монархам должно причислить Наполеона Бонапарта. Вспомним мексиканского императора Максимилиана, расстрелянного революционерами в 1867 году; персидского Шаха Наср-Эддина, убитого религиозным фанатиком, членом секты Бабидов, в Тегеране во внутреннем дворе святилища на 50-м году своего царствования (1896); вспомним, как анархист Луккени убил в Женеве ударом ножа (труакар) императрицу Елизавету Австрийскую (1898); вспомним короля итальянского Гумберта, убитого анархистом Гаэтано Бреши в 1900 году; вспомним, как в 1903 году сто пятьдесят сербских офицеров убили ночью во дворце короля сербского Александра Обреновича и его супругу королеву Драгу и выбросили их трупы в окно; как в 1905 году король испанский Альфонс XIII чудом спасся от брошенной в него бомбы; как в 1908 году король португальский Дон Карлос и его наследник Луи-Филипп были убиты на улице в экипаже профессором (sic!) Мануэлем Дос Рейсом и чиновником Альфредом да Коста. Умолчим ли мы о династиях, низложенных за последние десятилетия? Императоры России, Германии и Австрии, короли Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Италии, Испании, Португалии, Югославии, Болгарии, Румынии; монархи Турции

и Китая; великие герцоги Бадена, Гессена, Мекленбург-Шверина, Саксен-Веймара, Мекленбург-Штрелица, Ольденбурга и еще других пяти герцогств и семи княжеств Германии — все утратили свои троны *вопреки конституциям и без всяких правовых оснований*... Вспомним еще одного из замечательнейших государей истории Александра I Карагеоргиевича, убитого македонцем при содействии темных закулисных кругов кротатских (Павелич), венгерских, итальянских, французских (в октябре 1934 г.), а может быть и сербских.. Их всех тревожило возрастающее величие Югославии и мудрая независимость ее короля.

История России повествует нам также об убийении князей и государей. Первыми убийцами выступают сами удельные князья. Таков Святополк Окаянный, убийца князей Бориса, Глеба и Святослава 51). Здесь уместно вспомнить предательское ослепление Василька — Давидом и Святополком, возвращавшимися с Любечского съезда (1097 г.), после взаимного целования креста на верность. В 1174 году слуги убили сильного и мудрого князя Андрея Юрьевича Боголюбского. В 1306 году Юрий Данилович Московский удушил рязанского князя Константина 52). В 1318 году тот же князь убил в Орде князя Михаила Тверского и надругался над его трупом. В 1325 году князь Димитрий Тверской (Грозные Очи) убил в Орде внука Александра Невского Московского великого князя Юрия Даниловича. Вспомним еще ослепление Великого Князя Василия II Васильевича Темного Шемякою (1446) и свержение его. В 1606 году был убит Лжедимитрий I. В 1610 году был смещен и

против воли пострижен царь Василий Шуйский. Вспомним еще историю XVIII века: свержение Иоанна VI Антоновича, свержение и убиение Петра III Феодоровича, перевороты 1730, 1740, 1762 гг. В XIX веке: предательское убиение императора Павла I; ряд покушений на благосердного и великого реформатора Александра II Освободителя, закончившийся его убиением 1 марта 1881 года; убийство великого князя Сергея Александровича и наконец убиение императора Николая II, его семьи, великого князя Михаила Александровича и других членов царствующей династии.

Созерцая всю эту великую цепь преступлений и трагедий, можно было бы попытаться сказать, что Государи правят обычно без ограничения сроком, однако с тем пояснением, что срок их правления слишком часто устанавливается завистью других претендентов, интригою других стран или своей аристократии, произволом армии, буйством черни и нападением индивидуального убийцы. Добавим еще, что было бы напрасно воображать, будто республиканская форма правления освобождает главу государства от опасности покушений и убийств. Вильгельм Оранский (Молчаливый, 1533-1584) был не государем, а штатгальтером в Нидерландах, по назначению Филиппа II; в 1583 году он мог бы сделаться Голландским государем, но иезуиты (Бальтазар Жерар) поспешили убить этого героя и мудреца (1584). Новгород знает целый ряд убитых посадников (53). В июне 1894 года анархист Казерио убил французского президента Сади Карно. В 1897 году анархист убил испанско-

го премьера Кановаса; в августе того же года был убит президент Уругвайской республики Борда; в январе 1898 года — президент республики Гватемала Баррис; в июле 1899 года президент Доминиканской республики Heugeaux; в сентябре 1901 года — президент Соединенных Штатов Мак-Кинлей; в 1905 году — в Афинах убит первый министр Греции Делианнис игроком Геракарисом за то, что он закрыл игорный дом...

Можно ли после этого говорить о «срочности» и «бессрочности» полномочий монарха и президента? Ведь это значит закрывать себе глаза на живую государственную трагедию и ограничиваться отвлеченным пересказом вечно попираемых конституционных законов... Монарх — по идее — правит бессрочно; он пожизненно Государь. Но именно поэтому враги его, — то иностранные правительства, тайно субсидирующие убийц, то католическая церковь, богословски подстрекающая «тираноборцев», то династические конкуренты, то закулисные ненавистники, то революционные ассасины, — торопятся ограничить бессрочность сроком и укоротить предстоящую пожизненность...

Монарх по конституционным законам считается свободным от политической ответственности: отвечает не он, отвечают его советники. Но стоит ли говорить о «безответственности» монарха, когда каждый миг его жизни грозит ему бессудной расправой, насильственным свержением или нападением заговорщиков, хорошо изучивших устройство дворца и его выходы? Правда, пока соблюдают конституционные «приличия», монарха

нельзя ни сместить, ни отдать под суд, ни лишить трона. Но эти «приличия» нарушаются слишком часто и безответственно: каждый считает себя «в праве» безответственно возложить на монарха всю ту ответственность, какую захочет его произвол. Недаром один ученый высказывался в том смысле, что абсолютная власть монарха политически «компенсируется» покушениями на его убийство или, по крайней мере, на его свержение. И недаром один из королей, пережив покушение на свою жизнь и избежав прямого убийства, говорил с улыбкою суверенного мужества о «risques du métier» (Альфонс XIII).

Таковы великие трудности, ожидающие всякого исследователя в деле формального отличия монархии от республики. В знаменитой Анкарской надписи, оставленной императором Августом, он сам пишет: «Хотя я был выше всех других по занимаемым мною должностям, я никогда не присваивал себе власти больше того, сколько оставлял ее своим товарищам»... Кем же он был, когда 54) публично на коленях, скинув тогу и обнажив грудь, умолял толпу не навязывать ему диктатуру? Буасье характеризует его власть как «переряженную царскую власть» 55). А кем был Цезарь, которому публично подносили корону под рукоплескания одних, тогда как он (открыто говоривший о необходимости монархии) отвергал ее под рукоплескания других? 56). Кем был Наполеон I после восемнадцатого брюмера? Кем был Наполеон III в день декабрьского переворота? Кем был Кромвель, когда в 1658 году перед смертью назначал своим преемником сына своего Ричарда?

Кем был Карл V, когда он управлял Нидерландами в качестве главы конфедерации республик? 57).

Итак, оставим путь формальной индукции и попытаемся найти более глубокие отличия.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

- 1) Герье, « Август » (« Вестник Европы »).
- 2) Буассье, « Цицерон и его друзья », 326.
- 3) Буассье, « Падение язычества », 1.
- 4) Там же, 2, 3.
- 5) Безобразов, « Очерки византийской культуры », 35.
- 6) Там же, 14-15.
- 7) М. Brunner, « Deutsche Rechtsgeschichte », II, 2;
J. Flach, « Les origines de l'ancienne France », III,
163-164.
- 8) Flach, *op. cit.*, 397-399, 409.
- 9) Там же.
- 10) Там же, 392-393.
- 11) Там же, 387.
- 12) Фюстель де Куланж, « Древняя гражданская община », 163 и примеч.
- 13) Там же, 332.
- 14) Flach, *op. cit.*, 238.
- 15) Там же, 389-390.
- 16) Там же, 395-396.
- 17) Там же, 439.
- 18) Las-Cases, « Mémorial de Sainte-Hélène », II, 113.
- 19) Безобразов, *op. cit.*, 13.
- 20) См., например, у Сергеевича, « Вече и князь », 74.
- 21) Буассье, « Цицерон », 157, 170.
- 22) Фюстель де Куланж, *op. cit.*, 219.
- 23) Там же, 225-226.
- 24) Там же, 328-329.
- 25) Там же, 357-358.
- 26) Flach, *op. cit.*, 155.
- 27) Там же, 162-163.
- 28) Герье, « Республика или монархия », 7.
- 29) Flach, *op. cit.*, 286.
- 30) Тэн, « Наполеон », 99.
- 31) Герье, « Август », IV, 16-17.

- 32) *Фюстель де Куланж*, *op. cit.*, 232.
- 33) *Сергеевич*, « Вече и князь », I, 12, 21, 50 и др.; *Костомаров*, « Русская история », 35, 36 и др.
- 34) *Фюстель де Куланж*, *op. cit.*, 331-332.
- 35) Там же, 329-330.
- 36) *Бестужев-Рюмин*, « Русская история », I.
- 37) *Светоний*, « 12 Цезарей », Калигула, 5.
- 38) *Сенека*, « *De vita beata* ». 36.
- 39) *Фюстель де Куланж*, *op. cit.*, 137.
- 40) *Карсавин*, « Основы средневековой религиозности », 168;
Frazer, « *Le Rameau d'Or* », V, par. 2, 108.
- 41) *Поль Фукар*, « *Les mystères d'Eleusis* », 164.
- 42) *Фюстель де Куланж*, *op. cit.*, 232-233.
- 43) Срв. *Буасье*, « Цицерон и его друзья », 169.
- 44) *Герье*, « Август », 494.
- 45) *Буасье*, « Падение язычества », 424.
- 46) Там же, 440.
- 47) *Безобразов*, *op. cit.*, 3-4.
- 48) Там же, 4.
- 49) Там же, 43.
- 50) *Шустер*, « Тайные общества », I, 200.
- 51) Женатый на католичке; см. у *Забелина* : « хотел... сделаться... рабом папства », — « История русской жизни », I, 443, 445.
- 52) См. у *Костомарова*, « Русская история », IX.
- 53) См. у *Беляева*, « История Новгорода Великого », и *Костомарова*; например, в 1257 г. был убит посадник Михалко.
- 54) *Светоний*, « 12 Цезарей », I, 52.
- 55) *Буасье*, « Цицерон », 337.
- 56) *Плутарх*, « Жизнеописания ».
- 57) См. у *Прескотта*, « История царствования Филиппа II ».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Проблема монархического правосознания

1

Катастрофа, разразившаяся в истории русского народа и с тех пор угрожающая и другим странам, произошла оттого, что на протяжении многих десятилетий, слагающихся по совокупности в века, в душах меркла и исчезала *духовная очевидность*, т. е. верное восприятие и переживание великих духовных Предметов — Откровения, Истины, добра, красоты и права. Это можно было бы выразить так, что соответствующие им духовные лучи, исходящие свыше, воспринимались человеческими душами всё неувереннее, всё слабее и беспомощнее; а так как «природа не терпит пустоты», то на их месте водворялись безблагодатные содержания: или противобожественные вымыслы человеческого рассудка, ложные теории, зло, уродство, безвкусие и бесправие, или же мелкие и ничтожные содержания, в общем составляющие то, что именуется *пошлостью*. Но злые и ложные химеры способны еще вызывать

слепой « пафос », злую одержимость, неистовый и гибельный фанатизм, который однажды разоблачит себя сам, выдохнется и исчезнет. А мелкая ничтожность потребностей и страстишек не способна и к этому : она делает души тепло-прохладными, скудными, мелкими, ничего не любящими, безразличными, трусливыми и предательскими.

Так и произошла катастрофа : зло восстало во всем своем неистовстве, а *пошлость* трусливо и предательски спряталась, для того, чтобы быть порабощенною и превратиться в покорное орудие сущего зла.

Это означает, что мы должны *вступить на новые пути* — волею, чувством, созерцанием, познанием и действием. Для этого, мы должны признать несостоятельность наших былых духовных позиций и приступить к обновлению нашего *духовного опыта*. Мы должны очистить и обновить свой дух, чтобы ему по-новому открылись все духовные предметы. И это относится и к праву, и к государственности, и в особенности к *монархии*. Нам необходимо обновить и углубить наше *монархическое правосознание*.

Люди из поколения в поколение незаметно привыкают жить так, как если бы право и правовая форма жизни были чем-то *внешним* и притом *самодовлеющим*. « Кроме меня есть на свете еще другие люди, властно распоряжающиеся жизнью и требующие от меня, нередко с угрозами, чтобы я это делал, а того не делал; требуют они многого, требуют авторитетно и следят за мною, слушаюсь ли я; часть их требований записана и напечатана,

другая часть сообщается мне устно; в этом много неприятного и я всячески стараюсь уклониться от неприятного; тогда меня начинают судить и грозят мне наказанием»... И в этом будто бы состоит правопорядок...

На самом же деле всё обстоит совсем иначе. Правопорядок состоит в том, что каждого из нас признают живым, самоуправляющимся духовным центром, *личностью*, которая имеет *свободное правосознание* и призвана беречь, воспитывать и укреплять в себе это правосознание и эту свободу. В основе всякого права, и правопорядка, и всякой *достойной* государственной формы лежит духовное начало : человек призван к *самостоятельности* и *самодетельности* в выборе тех предметов, перед которыми он *преклоняется* и которым он *служит*. Ему дана от Бога и от природы *свобода* духовного самовоспитания и самостроительства; это его *право*, его *естественное право* и в то же время — его *призвание* и его *обязанность*; — и с этого всё начинается. Если он внутренне, перед лицом Божиим, признает это и воспитывает себя к свободе и дисциплине, то ему присуще живое правосознание и он имеет основание считать себя и считаться от других *субъектом права*. Если же этого нет, то он, как существо без правосознания — будет жить собственным произволом и терпеть произвол от других. Тогда все права, предоставляемые ему, будут напрасным даром : он не сумеет ни воспользоваться ими, ни оценить их, ни сберечь их; всякий правопорядок будет им попран и всякая государственная форма будет им нарушена и разрушена...

Без правосознания нет субъекта права, а есть лишь одно траги-комическое недоразумение — *духовно пустой человек*, которому напрасно предоставляются права живого духа. Тогда и право оказывается пустым словом и жизненным недоразумением; и правопорядок становится фиктивным, а государственная форма обречена на разложение и гибель.

2

Однако правосознание совсем не сводится к тому, что человек «сознает» свои права и о них «думает». Человек есть существо общественное, и если он об этом забудет, то умаление или прямое попрание его прав быстро напомнит ему об этом. Право не только уполномочивает, но и связует. Разумая свои *права*, человек призван разуметь и свои *обязанности*; он должен разуметь и то, что ему *запрещено*, чего он *не смеет*. Он призван также разуметь, что всем другим людям и каждому человеку в отдельности тоже присущи права, которые он должен признавать и уважать; что его собственные права как бы живут и питаются чужими обязанностями и запретностями, подобно тому, как чужие права ограничивают и связывают его самого. Правопорядок *связывает* людей друг с другом («соотнесенность», «коррелятивность») и притом на основах *взаимности* («мутуально»). Он представляет собою как бы живую систему взаимно признаваемых прав и обязанностей, или, что то же, — правоотношений; *частных* правоот-

ношений, поскольку ни одна сторона не властвует над другой, и обе подчиняются единой, вышестоящей *публичной* власти; и *публичных* правоотношений, поскольку одна из сторон имеет властное полномочие, а другая обязанность подчинения.

С другой стороны, правосознание отнюдь не сводится к «сознанию» или «мышлению». В правосознании участвуют так или иначе все душевные силы человека: и *воля*, и *чувство*, и *воображение*, и все те способности и силы, которыми человек осуществляет свои *действия* во внешнем мире; и в особенности — *человеческий инстинкт*.

Отстаивая свои права, человек *желает* их признания и *требует*, чтобы их блюли и уважали. *Признавая* чужие права, человек тем самым *вменяет* себе в обязанность их соблюдение, т. е. связывает свою волю мерою и дисциплиною. Желание, намерения, жизненные планы людей сталкиваются; право их сдерживает, оформляет и разграничивает. Можно прямо сказать, что *правосознание* есть *воля* человека к соблюдению права и закона, *воля* к *лояльности* своего поведения, *воля* к *законопослушанию*. Во всяком случае правосознание без воли будет или бездейственным утопическим мечтанием или сплошным жизненным дезертирством, предательством, «непротивленчеством» и безвластием.

В этом деле великое значение принадлежит *человеческому чувству*. Во-первых, в том смысле, что человеку присуще особое *чувство правоты*,

чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы, которыми ему подобает руководствоваться в общественной жизни. Во-вторых, в том смысле, что правосознание само по себе есть *чувство уважения* к закону и законности; *чувство преклонения* перед авторитетом законной власти и законного суда, и соответственно *чувство долга* и *связанности* им (например, служебного долга), живое чувство связующей *дисциплины*. Наконец, в-третьих, правосознанию естественно и необходимо *любить* свой народ, свою страну, свое отечество и в этой любви почерпать все те руководящие чувства, о которых я упомянул. Только любовь привязывает человека к чему-нибудь *на жизнь и на смерть*; только любовь вызывает в душе ту *верность*, без которой немислимо никакое государство; только любовь открывает человеку то *духовное око*, которое позволяет ему отличать в жизни Божественное от небожественного и превращать свою жизнь в истинное служение. Правосознание вне чувства и любви будет патриотически-безразличным, формально-педантическим и породит ту мертвенную бюрократическую машину, у которой *summum jus* (последовательнейшая законность) будет совпадать с *summa iniuria* (с величайшей несправедливостью). Правопорядок без жалости, без снисхождения, без милости может только угнетать людей.

Не трудно убедиться и в том, какое значение имеет во всем этом *сила воображения*. Здесь дело, конечно, не в субъективном фантазировании, а в *предметном созерцании* правопорядка, справедливости, естественного права, человеческой души и

государственной формы. Каждый из нас должен *увидеть воочию* окружающий нас живой *правопорядок*, связанность личных правовых «ячеек» друг с другом и свое собственное участие в этой жизни; тогда только он поймет, к чему это его призывает и обязывает. И *справедливость* совсем не совпадает с отвлеченным понятием равенства; напротив, она есть живое созерцательное приспособление к человеческому неравенству, — искание и нахождение для каждого верной меры «бремен» и «облегчений». Чтобы верно понять «естественное» право, необходимо найти его в глубине своего собственного духа, «почувствовать» его, увидеть его силою воображения и восхотеть его волею. Воспитатель, следователь, судья, правитель и законодатель, не способные вчувствоваться в чужую душу силою воображения, — не справятся со своей задачей, что ныне наглядно доказано опытом тоталитарных государств. И наконец, ни одна государственная форма не будет верно понята до тех пор, пока люди, творящие ее и подчиняющиеся ей, не *увидят* ее как живой организм законодательства, управления, суда и гражданского воспитания. — Словом, правовая жизнь нуждается в живом, предметном созерцании; и всякий, кто хоть раз в жизни пытался составить законопроект или применить закон в жизни, истолковывая его и делая из него верные выводы, сразу поймет и примет мое утверждение. Правосознание вырождается вне совестной интуиции.

В том, что правосознание захватывает и подчиняет себе все внешние проявления человека и в особенности все его действия, не может быть ни

малейшего сомнения : и слово (например, в выражении согласия-несогласия, или в оскорблении, или в политической речи), и писание, и всякое телодвижение, и даже умолчание. Человек отвечает перед законом и правопорядком за свое тело, как за *орудие своей воли*; и поэтому так легко сразу отличить человека, лишенного правосознания и чувства ответственности, по его внешнему поведению или даже по манере держаться в обществе. Чувственные ощущения и восприятия, телесность и вещественность человека вводят человека в Божий мир; это язык телесного труда, хозяйства и миропросветления. Правосознание аскета, йога, отвернувшегося от чувственных ощущений, вещей и людей, буддиста, пытающегося обойтись без мира, — будет пустым, эмбриональным, бездейственным и химерическим.

Если охватить всё это единым взглядом, — всю эту *цельность* правосознания и все его жизненные задания, — то мы неизбежно придем к тому выводу, что правосознание есть в конечном счете некая духовная *дисциплинированность инстинкта*, которая вызывает в нем *живое чувство ответственности* и сообщает ему известное *чувство меры* во всех социальных проявлениях человека. Именно так и обстоит на самом деле. Человек, одаренный живым правосознанием, инстинктивно чувствует предел своих полномочий, внутреннее понуждение к исполнению своих обязательств и обязанностей, и некое отталкивание от запретных действий. В глубине его души живет легкий « удерж », который мешает ему совершить запретное, причем этот « удерж » всегда находит для

себя глубокую санкцию в совести и высокую санкцию в религиозности.

Не следует вообще думать, будто человеческий инстинкт, — жизненно-животно-жадный, — противостоит *духу* и всяческой духовности. Напротив, он может и должен нести в себе свою особенную, полусознанную (а иногда и совсем не осознанную) духовность. Так, напрасно думать, что *художник* «выдумывает» или «изобретает» свои создания; на самом деле он прежде всего *испытывает* их («концепирует», вынашивает) *духом своего инстинкта*, с тем чтобы потом осуществить их, облечь их во внешние ризы — силою духовно-инстинктивного выбора и вкуса: искусство создается бессознательно-инстинктивною духовностью.

Напрасно также представлять себе *совесть* как рассудочное «со-вещание» человека с самим собою о надлежащем поведении. Совесть есть власть духа над инстинктом, однако без раздвоения их, ибо эта власть осуществляется теми корнями духа, которые живут в самом инстинкте: именно поэтому человек совершает совестный поступок с уверенностью в своей правоте, с интуитивною быстротою и инстинктивной страстной цельностью, что нередко воспринимается другими несовестными людьми, как «безрассудство». Совесть есть как бы глас Божий, цельно овладевший человеком, его инстинктом и его судьбою (см. главу о Совести в моей книге «Путь духовного обновления»).

Особенное значение духовность инстинкта приобретает в *религиозности* и в *молитве*. Вера есть

состояние цельное, не могущее осуществиться вне человеческого инстинкта; если инстинкт не «*обратился*», а отделился и замуровался в своей обособленности, то вера не будет целью: тогда человек будет «*веровать*» поверхностно и не верить глубиной своей души; он будет молиться словами и жестами, но не сокровенным огнем своей личной страсти и молитва его останется хладною и притворною. Это будет означать, что или его инстинкт лишен духовности, или же духовность его инстинкта еще не обратилась и не возгорелась в молитве и вере. Именно это имеет в виду русская народная мудрость: «*кто в море не тонул и детей не рожал, тот Богу не маливался*»; причем имеется в виду именно последняя глубина человеческого духо-инстинкта и ее искренне-целостное обращение к Богу.

Отсюда следует, что *искренняя религиозность* есть вернейший и глубочайший *корень правосознания* и что верующая душа может обладать верным и мощным правосознанием, несмотря на малую «*образованность*» своего сознания.

3

Теперь должно быть уже совершенно ясно, что постигнуть жизнь и смысл *государственной формы* невозможно помимо правосознания. Ибо всякая государственная форма есть прежде всего «*порождение*» или «*произведение*» правосознания, — конечно, не личного, но множества сходно живущих, сходно «*построенных*» и долго общающихся личных правосознаний. Человеческие ду-

ши неодинаковы и не равны : они все своеобразны и различны. Но те духовные акты, которыми они живут и строят свою жизнь, могут иметь некоторые черты сходства в своих основах и в своем строении, причем долгое общение может увеличить это сходство, а драгоценное духовное подобие может укрепить волю к постоянному и плодотворному общению. Возникает акт *национального правосознания*, национального сомочувствия и самоутверждения и из него вырастает исторически *государственное правосознание* и *государственная форма* народа.

Выражая это психологически, можно было бы сказать : у всякого народа своя особая « душа » и помимо нее его государственная форма непостижима. Потому так нелепо навязывать всем народам одну и ту же штампованную государственную форму.

С социологической точки зрения надо было бы описать это так. Множество людей переживает своим правосознанием сходную потребность в праве и в государственной власти; у многих людей — единая цель : жить в правопорядке, быть правовым и государственным единством; эта цель переживается чувством, волею и действием; здесь и бессознательно, и сознательно скрещиваются лучи правосознаний, создающих государственную форму. Отсюда — у многих людей единая государственная власть, единая система законов и единый, *общий* им всем государственный строй.

Всякий юрист должен понять и признать, что именно правосознание есть тот орган, без которого нельзя жить правом, вступать в правоотношения

с другими людьми, поддерживать правопорядок, тягаться о правах, творить суд, организовывать частные общества (ученые, акционерные компании, клубы, кооперативы) и публично-правовые организации (законодательные собрания, думы, земства), участвовать в выборах, быть чиновником, президентом и монархом. Это необходимо всегда помнить; с этим необходимо всегда соотноситься. *Правосознание необходимо* в общественной и политической жизни, как *главное «орудие»*. Нельзя предполагать, что оно присуще всем людям изначально и одинаково: *его необходимо воспитывать и укреплять в людях с детства*. С детства необходимо вселять в людей уверенное, непоколебимое чувство, что они суть *духовные существа*, что они признаются *субъектами права*, что им присуще *духовное достоинство*, что они призваны к *самообладанию и самоуправлению*, что они призваны к *взаимному уважению и доверию*, что *государственная власть уважает их и доверяет им* и что они призваны отвечать ей теми же чувствами. *Правосознание воспитывается в людях*, а не предполагается готовым, зрелым и полномощным, «пока не будет доказано обратное»... И если люди забывают об этом и пренебрегают этим, то государственный кризис может наступить внезапно и неотвратимо.

Такие ошибки человек делает и в материальной сфере, и в духовной. Но вещи «мстят за себя» быстро и осязательно и этим воспитывают человека в пример его ближним; а в духовной сфере ошибки могут накапливаться долго и вдруг приводить к катастрофе. Кто не протирает долго свои

очки, тот замечает, что видит плохо и что их надо протереть. Хирург, пользующийся тупым и грязным ланцетом, наделает бед и его устроят от должности. Скрипач то и дело настраивает и проверяет свою скрипку. Обрезав провод у телефона, телеграфа или электрического освещения, человек не получит ни звука, ни сигнала, ни света... Но в сфере духовного опыта люди позволяют себе пренебрегать его законами.

Люди то и дело пытаются говорить о праве и о государственных делах и действовать в политике, ни разу в жизни не прочистив очков своего правосознания; они то и дело пытаются « оперировать » от лица государства посредством тупого и нечистого орудия — своего бессовестного или классового правосознания; или же они пытаются править государством, воображая, что их слово всемогуще, а принуждение есть нечто постыдное; они « разыгрывают » целые политические « концерты » ни разу не подумав о том, что необходимо верно настроить скрипку своего политического разумения; они как бы перерезают провод между личным правосознанием гражданина и государственной властью и удивляются, что в душах воцаряется революционный хаос, а государство переживает великое крушение...

Право и государственная форма — или бывают несомы правосознанием, или же вырождаются : тогда они превращаются в мертвую отвлеченность научной юриспруденции, в юридическую фикцию (вымысел), в « эмоциональную фантазму » (Л.И. Петражицкий), в пустую видимость, в нежизнеспособную слабость, которая обрушивается при

появлении дерзкого политического авантюриста-революционера или при первом же буйстве уличной толпы...

Итак, государство, государственная форма, правопорядок и вся политическая жизнь народа — суть всегда проявление, живая функция, живое создание множества личных правосознаний, их *силы*, их *верности*, их *действенности*, их *строения*, их *совестного благородства*, их *религиозности* или, соответственно, их *безбожия*. И вне этого *духовно-функционального* освещения и постижения всякое определение будет формальным, поверхностным и условным.

При этом следует иметь в виду, что не субъективный произвол и не рассудок решают в каждом отдельном случае, какое строение имеет правосознание данного лица или народа и к какой именно политической форме оно тяготеет. Человеческое правосознание возникает иррационально, оно развивается исторически, оно подлежит влиянию семьи, рода, религиозности, страны, климата, национального темперамента, имущественного распределения и всех других социальных, психологических, духовных и материальных факторов. С этой точки зрения можно было бы говорить, например, о «морском» правосознании греков и англичан, и о «континентальном» правосознании у русских и у китайцев; о религиозном правосознании магометан и о безрелигиозном правосознании современных социалистов-коммунистов; о родовом правосознании древней гражданской общины и о безродном правосознании современных республик и т. д. — Всё это озна-

чает, что государственная форма присуща каждому народу в особицу, вырастая из его, единственного в своем роде правосознания, и что только политические верхогляды могут воображать, будто народам можно навязывать их государственное устройство, будто существует единая государственная форма, «лучшая для всех времен и народов»... Всё это означает еще, что правосознание может и должно *воспитываться* в народе и что это воспитание (или соответственно — *перевоспитание*) требует времени, духовной культуры, педагогического разумения и опыта. И нет ничего опаснее и нелепее, как навязывать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию (например, вводить монархию в Швейцарии, республику в России, референдум в Персии, аристократическую диктатуру в Соединенных Штатах и т. д.).

4

Отсюда явствует, что сущность монархического строя в отличие от республиканского должна исследоваться не только через изучение юридических норм и внешних политических событий, но прежде всего через изучение *народного правосознания и его строения*. Здесь необходимо, однако, соблюдать известные исследовательские правила, при нарушении которых всё может повести к полной неудаче или к произвольной выдумке.

Так, во-первых, не следует искать критерия в явлениях смешанных, переходных, беспочвенных и разлагающихся. Понятно, что смешанным и

переходным формам правления соответствует такое же состояние правосознания. Надо изучать явление не в его закате и разложении, не в эпоху смуты и бессилия, а в его здравии и силе. Ибо возможно такое состояние правосознания, при котором оно вообще неспособно ни к какой зрелой государственной форме: например, оно уже неспособно к традиционной монархии и совсем еще неспособно к республиканской форме; тогда обычно водворяется более или менее жестокая диктатура. В душах царит хаос; о публичном спасении никто не помышляет; чернь ищет хлеба и зрелищ, среднее сословие жаждет наживы, высшее сословие — почестей и власти — и все несует свое государство врозь. Такие состояния известны нам в истории Китая, из истории Пелопоннесской войны, из эпохи Цезарей в Риме, из эпохи Возрождения (итальянские кондотьеры), из истории Тридцатилетней войны, русской Смуты и т. д.

Вторым исследовательским правилом является *живой, художественный подход* к монархическому и республиканскому правосознанию. Исследователь должен вчувствоваться в описываемое настроение, воззрение или убеждение; он должен, — совершенно независимо от своих личных склонностей и симпатий, — лично пережить, перечувствовать как сильные, так и слабые стороны монархического и республиканского правосознания. Нельзя выделить одни сильные стороны монархического уклада души и противопоставить их слабым сторонам республиканского уклада; и наоборот. Нелепо и несправедливо было бы сказать, что республиканское правосознание своекорыстно

и продажно, а монархическое — бескорыстно и неподкупно; или — что монархическое правосознание характеризует рабскую натуру человека, а республиканское — человека со зрелым и свободолюбивым самочувствием. Исследователю необходимо не только интуитивное вчувствование, но и партийное беспристрастие, справедливость и политический такт. Ибо может оказаться, что оба эти политические воззрения и настроения имеют свои *сильные* и свои *слабые* стороны, свои здоровые основы и свои опасности... Может также оказаться, что республиканец «чистой воды» может многому научиться у настоящего, честного и убежденного монархиста; и обратно, — что искренний монархист восходит на настоящую высоту именно тогда, когда обогащает верные основы своего политического уклада лучшими умениями республиканского правосознания.

После всего сказанного мы можем обратиться к предметному анализу.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Основные предпочтения - 1

1

Исследуя монархическое правосознание в отличие от республиканского, мы скоро замечаем, что ему присущи некоторые основные тяготения, склонности или потребности, которых не разделяет или которые прямо отвергает и осуждает республиканец. Каждая из этих склонностей есть своего рода иррациональное (хотя иногда и сознаваемое) *предпочтение души*; оно может не только вступить в сознание, но даже породить обобщение, теорию или доктрину; но у народной массы оно может оставаться и подсознательной «установкой» души. Идейная страстность превратит это тяготение в пафос — пафос монархии или республики; слепая страстность создаст неистового республиканца или ожесточенного монархиста.

Каждое из таких тяготений приводится мною в порядке отличения или даже противопоставления.

Но эти различные или противоположные тяготения отнюдь не следует понимать как логические или психологические несовместимости. Жизнь пестра и сложна, а человеческие души — в особенности. Есть монархисты по традиции, которых привлекает что-то в республиканском порядке вещей; и бывают республиканцы с монархическими уклонами, сущность которых им самим не ясна. Указываемые мною в дальнейшем тяготения сочетаются у людей различно. Борьба между монархистами и республиканцами в разные эпохи и у разных народов развертывалась то преимущественно из-за одного отличия, то из-за другого: бывало так, что в основе лежали *религиозные* разногласия, но бывали затяжные конфликты на почве *социальной*; то выдвигалось начало справедливости, то начало равенства, то начало свободы; побуждения честолюбия, настроения революционного авантюризма, жажда власти и другие подобные побуждения сочетались своеобразно в разные времена и в разных странах. Но именно поэтому бывает нелегко найти цельных представителей определенного типа, разве только среди доктринеров, и притом партийных доктринеров. Во всяком случае те различия, на которые я сейчас укажу, не должны пониматься в «диалектическом» смысле: *или* одно, *или* другое. Напротив, здесь всё сложно, живет в оттенках и не нуждается в заострении. Можно быть искренним монархистом, но ценить и оправдывать не всякую монархию, отвергая монархию произвола, гнета, террора и военного приключения; и обратно, честный республиканец может отнестись с отвраще-

нием к республике, построенной на демагогии, на продажности, национальной измене и закулисном обманывании народа.

Теперь мы можем обратиться к нашим противопоставлениям.

2

1. *Монархическому* правосознанию свойственна потребность *олицетворения* государственного дела, отнюдь не характерная для *республиканского* правосознания. То, что олицетворяется, есть не только верховная государственная *власть*, как таковая, но и самое *государство*, политическое единство страны, сам *народ*.

Народ, по самому способу своего существования, есть великое, раздельное и рассеянное множество. А между тем его сила, энергия его бытия и самоутверждения требуют *единства*. Здесь явное расхождение между формой земного существования и духовным бытием; и это расхождение должно быть так или иначе преодолено. В чем же наше единство? — спрашивает народное правосознание... В территории? Но границы ее изменчивы и спорны... В армии? Но армия есть такое же множество, как и сам народ, — если у нее нет единого командования и единого главы... Единство народа требует зрелого, *очевидного*, духовно-волевого воплощения: *единого центра, лица, персоны, живого единоличного носителя*, выражающего правую волю и государственный дух народа. Отсюда

потребность олицетворять государственное дело, — и власть, и государство, и родину-отечество, и весь народ сразу.

Процесс олицетворения (персонификации) состоит в том, что нечто *неличное* (в данном случае — государственная власть), или *сверхличное* (родина-отечество), или *многоличное* (народ объединенный в государство), — переживается как *личное существо*. Однако не просто в качестве «символа», ибо символ только «замещает» и «представляет», а в смысле *живого тождества*, преодолевающего раздельность и *лично* воплощающего искомое единство. Этот процесс есть *художественный* процесс, в котором монарх художественно отождествляется с народом и государством, а народ художественно воплощает себя и свое государство в Государе. Это означает, что монархическое правосознание включает в себя *художественное созерцание* и *художественное творчество*, сущность которого будет раскрыта в дальнейшем. Именно эту художественность монархического начала имел в виду граф А.К. Толстой, когда говорил: «я ненавижу деспотизм, ... но... я слишком художник, чтобы нападать на монархию».

Это олицетворение кажется республиканскому правосознанию совершенно неубедительным и ненужным. Почему именно это *лицо* воплощает государство и государственную власть? Почему не другой кто-нибудь, более умный, более образованный, более даровитый? Почему, например, не «я»? Почему вообще кто-нибудь один, а не все мы вместе и сообща? Почему не многие по оче-

реди? Да и к чему это «олицетворение» вообще? Да еще с явной монополией? Что за детская игра в символы? Зачем вносить мечтательное художество в трезвое дело государственности?

В результате республиканец переживает этот процесс олицетворения как несоответствующий «идеалам» «демократии», как шокирующий, опасный и вредный. Особенно возмущает его *монополия* олицетворения, явно устранившая всех, кроме одного. Он полагает, что всякое такое олицетворение должно быть сведено к необходимому минимуму и притом к внешней условности: совершенно достаточно условного, срочного, очередного, *чисто формального и внешнего фигурирования*; и уж совершенно недопустимо участие внутреннего мира — чувства, воли, воображения, преклонения, всевозможных напряжений духа и волнений сердца.

Юридически это можно было бы выразить так, что субъект олицетворяемый (государство) и субъект олицетворяющий (президент республики или главнокомандующий ее войсками) — отчетливо различаются и даже резко противопоставляются республиканским правосознанием; в то время как монархическое правосознание успокаивается только тогда, если переживает здесь художественное отождествление. Вот почему монархист так легко и естественно переживает это тождество и выговаривает его, тогда как республиканец шокируется, протестует, иронизирует и негодует, цитируя выражение Людовика XIV «l'Etat — c'est moi» (1) как бессмысленную заносчивость или вредное безумие, а выражение Спинозы «гех

est ipsa civitas» — как курьезный пережиток, простительный бедному мудрецу, проживавшему на чердаке и ничего не понимавшему в политике.

Ипполит Тэн отмечает, что Наполеон Бонапарт быстро усвоил себе это самочувствие монарха еще в эпоху консульства и затем закрепил его коронованием: «Он начинает говорить с такою же легкостью и непринужденностью, как сам Людовик XIV, и даже с еще бóльшим деспотизмом — *моя армия, мой флот, мои кардиналы, мои соборы, мой сенат, мой народ и моя империя*»... Монарх отождествляет себя со своим народом и отечеством подобно тому, как народ переживает это отождествление через персонификацию.

Это различие можно было бы пояснить аналогией из области религиозной: республиканец относится к монархисту приблизительно так, как пантеист («растворяющий» Божество в мире) или деист (не признающий личного Бога) к теисту, верующему в ипостась Бога живого и личного. Субъективно говоря, пантеист не чувствует потребности олицетворить Божество: ему достаточно «общего», растворенного, универсального представления, учение же о личном Боге он считает произвольной, ненужной, субъективной выдумкой людей, стоящих на «низшей» ступени развития. Олицетворение или персонификация возникает именно из потребности облечь духовный предмет в живой, законченный, духовно-человеко-подобный образ. Когда эта художественная потребность вносится в религиозный опыт, то возникает учение о личных богах. Есть религиозные учения, которым эта потребность совершенно

чужда, например, учение Лао-Цзы; таково же первоначальное учение Будды; но современный буддизм восчувствовал эту потребность и обожествил самого Будду. Пластическая религиозность древнего грека не могла удовлетвориться безличными богами. Можно было бы сказать, что художественно одаренные народы обычно вносят свое художественное созерцание и в религию; а так как настоящая религиозность цельна и охватывает весь духовный акт человека, то и в правосознание. Отсюда представление о *личной* власти в государстве, о человеке-властителе-сверхчеловеке, о вожде, полководце, императоре. Вот почему скульптура изображающая Александра Македонского представляет один из высших взлетов греческого духа: пластическое явление царя в форме греческого бога, не то Тезея, не то Геракла, не то Марса, не то Аполлона (отсюда и споры музейных знатоков); скрещение национальной *религии*, национальной *государственности* и национального *искусства*. Замечательно, что сухое, трезвое, утилитарное правосознание римлян, изжив первый романтизм царского мифа, надолго удовлетворяется республиканскою формою и художественно оживает только под влиянием разложения демократии и республиканского правосознания, особенно же под влиянием эллинизма. Еще более поучительно то обстоятельство, что христианская религия, даровавшая миру откровение личного Бога, на много веков оживила потребность олицетворять и созерцать воочию государственную власть; и что за последние два-три века (XVIII, XIX и XX) кризис христианства и кризис

монархической государственности идут рука об руку.

Я был бы даже склонен выдвинуть такое обобщение: художественно одаренный народ может изжить почти весь свой дар в искусстве и в религии; но в глубине души он всегда останется предрасположенным к монархии и склонным к монархической реставрации: стоит только этой потребности проснуться в его политическом правосознании. Исторически и политически чрезвычайно интересно следить за тем, как потребность в олицетворении, проникая в душу республиканского народа, слагает сначала «зародыш», потом ядро и наконец уклад монархии. Так было с Александром Македонским, с Юлием Цезарем, с Октавианом Августом, с Наполеоном Бонапартом. У генерала Буланже и у маршала Мак-Магона в эпоху третьей французской республики всё остановилось в зародыше. На таком же зарождении без расцвета всё остановилось и у Оливера Кромвеля в Англии и у президента Вашингтона в Соединенных Штатах. Вспомним, что и ныне все идущие мимо его бывшей резиденции снимают шляпу и идут с непокрытой головой, как в Москве под Спасскими воротами Кремля.

Но и обратно: по мере того как потребность в олицетворении слабеет и исчезает в народном правосознании, — монархический уклад уступает свое место республиканскому. В этом отношении особенно поучительно видеть, как ошибки, колебания, неосторожности и жестокости монархов могут вызывать не только охлаждение к данному королю, а разочарованное, судорожное сжимание

всего олицетворяющего душевно-духовного акта... Такова, например, история первой французской революции: олицетворение прервалось, потом восстановилось вновь, но уже на другом лице. Напротив, в России потребность в олицетворении была столь религиозно-подлинна и художественно непоколебима, что все жестокости и мероприятия Иоанна Грозного («перебор людешек»!) не ослабили монархического чувства в правосознании русского народа.

Именно в силу этих особенностей правосознания — *армия в республике* пробуждает потребность в олицетворении и нередко становится очагом монархического правосознания, особенно если полководец-герой и патриот всегда единоличен и олицетворяет армию так, как армия представляет собою весь народ и всё государство. Поэтому монархический уклад может зарождаться в стране не только через политически-государственное, но и через армейски-воинское олицетворение. В истории римских цезарей мы это видим на каждом шагу. А в наши дни мы невольно думаем о популярности Макарура в Соединенных Штатах и о расправе французских республиканцев над заслуженным и величавым старцем Маршалом Петеном.

Итак: монархическое правосознание тяготеет к олицетворению государственной власти и всенародного коллектива; а республиканское правосознание тянет к растворению личного и единоличного начала, а также и самой государственной власти в коллективе.

2. Для того, чтобы понять сущность монархического олицетворения, необходимо все время иметь в виду его *религиозную* природу. Дело в том, что монархическому правосознанию, сквозь все известные нам исторические века, присуща склонность воспринимать и созерцать государственную власть как начало *священное, религиозно освящаемое* и придающее монарху особый, высший, *религиозно осмысливаемый ранг*; тогда как для республиканского правосознания характерно вполне земное, *утилитарно-рассудочное* восприятие и трактование государственной власти.

Это отнюдь не значит, что монархист не желает или не способен мыслить рассудком и устанавливать наблюдением пользу и вред государства, силу и слабость государственной власти и успешность или неуспешность ее отдельных мероприятий... Напротив, он может и он обязан знать историю, понимать социологию и эмпирически проверять всякую политическую меру. Если он теряет эту способность и это желание и забывает о причинах и последствиях в земной жизни, то он быстро впадает в крайности слепого и неумного « мистицизма », а может быть и в злокачественное ханжество, которое обычно приносит народу и стране неисчислимый вред, а иногда губит и самый политический строй.

История могла бы указать нам целый ряд временщиков, которые для закрепления своего личного влияния при дворе культивировали в душе

государя и его семьи эту нелепую и вредоносную установку, согласно которой вера исключает рассудок и разум в государственном деле, а религиозно-мистическое настроение угашает или убивает идею государственной пользы. Проблема «пользы» есть вопрос о верно найденной и верно осуществленной причинной связи между *средством* и *целью*. Более того: это есть вопрос о *верной цели* и, следовательно, — вопрос о *волевом, действительном* отношении к жизни, к ее запросам, проявлениям и последствиям. Вера в Бога отнюдь не призвана к тому, чтобы исключать или подавлять волевое творчество человека: напротив, она должна указывать человеку истинную, Богу угодную цель жизни (и личной, и политической) и вызывать в нем героические напряжения воли, при уверенности, что помощь Божия довершит всё то, что изнемогший герой не сможет осуществить.

К тому же надо признать, что и в личной, и в народной жизни верные средства для верной цели обретаются совсем не рассудком, а *интуицией*, т. е. созерцательным погружением души в жизненное наблюдение и в смысл собранного жизненного опыта, причем весь этот процесс осуществляется иррационально (или «полу-иррационально») великою силою *инстинкта самосохранения*, личного в личных делах и народно-патриотического в политике. И вот, религиозная вера есть величайшая сила, призванная *углублять, очищать и облагораживать* инстинкт личного и национального самосохранения, но отнюдь не гасить, не обессиливать и не извращать его невер-

ными, лже-богословскими доктринами. От созерцания Бога и от молитвы инстинкт самосохранения очищается и одухотворяется, в нем пробуждается *совестное правосознание*, он постепенно делается дисциплинированным, мудрым, покорным, вплоть до готовности умолкнуть и согласиться на личную смерть во имя Дела. Это относится и к *национальному* инстинкту самосохранения. История знает явления величайшего духовного подъема и героической воинственности, возникавшие в массах на этом пути, например, завоевание магометанами-арабами передней Азии, северной Африки и Испании в VII и VIII веках; борьба Нидерландов и Швейцарии за независимость; свержение татарского ига в России и др.

Но если «мистическое» восприятие власти начинает ослаблять инстинкт национального самосохранения, расшатывать государственную волю, мутить разум и сеять большие фантазии, то государство или разлагается и гибнет, или же обновляет свою форму правления, сбрасывая вредный мистический туман и дурман и обращаясь к инстинктивно-здоровому целеполаганию и трезвому отысканию путей и средств. Принципиально говоря: сказать «*мистическое*» — совсем еще не значит сказать «*глубокое*», «*чистое*», «*верное*», «*благотворное*», «*Богу угодное*»; ибо бывает мистика больная, извращенная, порочная, прикрывающая зло ханжеством, и даже дьявольская. И вот, если монархическое правосознание заболевает больным «*мистицизмом*», извращающим или обессиливающим здоровый инстинкт национального самосохранения, то это расхождение между

инстинктом и духом может закончиться *крушением монархии*; может последовать провал из большого монархического правосознания в большое республиканское правосознание, неспособное к трезвой утилитарной политике, и тогда трагическая развязка окажется неизбежной.

Итак, религиозное восприятие власти оказывается плодотворным именно тогда, когда оно пробуждает в монархе и в народе *дальнозоркость, мудрость и жертвенность совестного правосознания*. Именно таково было царствование Петра Великого, этого величайшего эмпирика в политике и государственного утилитариста, внутренне вдохновенного религиозным пониманием своей власти и своего призвания. Иным по темпераменту, но сходным по традиции, по восприятию и по творческой продуктивности было царствование императора Александра II Освободителя.

Добавлю только во избежание недоразумений, что история знает целый ряд выдающихся монархов, которые сами не были склонны к мистическому восприятию власти. Тогда инстинктивно-утилитарный путь подсказывался им или своеобразным *патриотизмом*, то воинственным, как у фараона Нехао, то созидательным, как у императора Адриана и Генриха IV французского; или пафосом *моральной ответственности*, как у Фридриха Великого; или *вдохновенным властолюбием*, как у Наполеона Первого. Замечательно, что политически вдохновенный монарх внушал мистическое преклонение своим подданным даже и тогда, когда он сам не склонялся ни к религиоз-

ности, ни к мистицизму, например, Октавиан Август, Фридрих Великий, Наполеон I и другие.

Религиозное восприятие монархической власти отмечается историей на протяжении тысячелетий и притом во всех странах света.

Уже древнейшая дошедшая до нас книга истории (2.000 лет до Р.Х.), китайская летопись Шу-Дзын знает об особом сродстве императора с Небом, но постоянно оговаривается, что это сродство присуще ему только при условии, если император *добродетелен и исполняет волю Неба*: иначе он теряет свое небесное призвание и полномочие, божественный «мандат» (2).

Но наиболее цельное понимание мы находим в Законах Ману (до-исторический кодекс древней Индии, Манава-Дхарма-Шастра). Мистическая природа царской власти объясняется здесь *онтологически* (3). «Сей мир, лишенный Царей, был обуреваем со всех сторон страхом; и вот, для сохранения всех существ Господь создал Царя, взяв вечных частиц от субстанции Индры, Анилы, Ямы, Сурии, Агни, Варуны, Чандры и Куверы; и именно потому, что *Царь был создан из частиц, извлеченных из естества главнейших богов*, он и превосходит сиянием всех других смертных. Подобно солнцу он обжигает глаза и сердца и никто на земле не может смотреть ему в лицо. Он есть Огонь, Ветер, Солнце, Гений Луны, Царь правосудия, Бог богатств, Бог вод, Владыка тверди — по своему могуществу»... И дальше поясняется, что Царь и должен иметь все нравственные качества богов, дабы Всевыш-

ний не наказал его за кощунство. Итак, Царь божествен — по бытию своему, *по составу своего существа*: эта божественность дана ему мистически, а жизненно и действительно она ему еще только задана; и горе ему, если он кощунственно уронит ее или не соблюдет. В этом понимании как бы заложен весь последующий индо-европейский «цезаре-папизм»: ибо Царь принял в себя все божественные качества, особливую благодать и силу.

Это не значит, что европейцы заимствовали идею «божественности монарха» у Индии. Нет, эта идея есть древнее и универсальное достояние человечества. Ее древнейшая форма — власть отца, как верховного властителя в делах семьи, быта, хозяйства и религии. Царь есть родоначальник семьи и клана, *верховный жрец*, верховный судья, верховный властитель. У диких племен царем становится волшебник или колдун, сносящийся с богами (4): религиозный авторитет дает светскую власть. Фюстель де Куланж (5) пишет: «Всякий, оказавший большую услугу гражданской общине, начиная с того, кто положил ей основание, до того, кто даровал ей победу или улучшил ее законы, — всякий становится для нее богом»; для этого «достаточно было живо поразить воображение своих современников и сделаться предметом народного предания, чтобы стать героем, т. е. могущественным мертвецом, чья охрана желательна, а гнев страшен». Это «вожди страны», о которых Пифия сказала Солону: «чти служением вождей страны, усопших, обитающих под землю». Понятия «отца», «родоначальни-

ка », « жреца », « героя », « царя » и « бога » как бы срastaются воедино до неразличимости.

Монархическое правосознание веками вынашивает эту уверенность, что между монархом и Божеством имеется особая, преимущественная связь, которой нет между простым человеком и Богом. Эта связь делает царя *субстанциально-божественным* и возлагает на него призвание показать и действительно утвердить эту божественность в жизни. Поэтому народы поклоняются Царю не только как Отцу, в коем сосредоточилась преемственно вся власть предков, не только как повелителю, верховному судье и жрецу, но и как *воплотившейся частице Божества*. Связанный настолько с Богом, он и должен был быть первым и верховным жрецом, ближайшим к Богу посредником между ним и человеком. Так древний Восток полон веры в сущую божественность царей и всегда готов воздать им божеские, полубожеские или богоравные почести. При появлении царя люди Востока падают на землю, укрывая свое лицо, или же отвертываются, становясь к нему спиной, ибо не смеют взирать. Прескотт в своем « Завоевании Перу » рассказывает, что знатнейшие вельможи перуанские, являясь к уже взятому в плен перуанскому царю, инке Атагуальпе, снимали с ног обувь (как магометане в мечети) и надевали на спину ношу в знак уважения (подобно пилигримам).

Связанный особенно с Богом, царь должен быть первым и верховным жрецом, ближайшим к Богу посредником между Богом и человеком. Фа-

раон Аменхотеп IV, прославленный реформатор египетской религии, утверждал прямо свое богосыновство («Твой сын, происшедший из Твоего тела», «я есмь часть Тебя») (6). О втором древнеримском царе, о Нуме Помпилии, Тит Ливий рассказывает, что он исполнял бóльшую часть жреческих обязанностей, но, предвидя, что его преемники, вынужденные вести частые войны, не всегда будут в состоянии заведовать жертвоприношениями, учредил верховных жрецов, которые заменяли бы царя на случай отсутствия его из Рима (7). Фюстель де Куланж обобщает: «римское жречество было как бы выделением из первоначальной царской власти»; «главнейшею обязанностью царя было совершение религиозных церемоний; один древний царь Сикиона был лишен своего сана потому, что, осквернив свои руки убийством, он не мог быть царем» (8). Отсюда глубокомысленный историк делает дальнейший вывод: в древних гражданских общинах цари были установлены не силой, не оружием, не честолюбием, а верой и религией. Аристотель прямо утверждает, что власть родилась из культа и притом из культа очага. В этом смысле и Пиндар называет царей священными (*basileis ieroi*). В царе видели если не совершенного бога, то по крайней мере «человека, наиболее властного утолить гнев богов, человека, без помощи которого никакая молитва не была действительна, никакая жертва не принималась» (9). В связи с этим Страбон и Атений отмечают, что позднее, когда республики низвергли царей, царские роды не только не изгонялись, но им продолжали возда-

вать почет и оставляли за ними название и знаки царского достоинства.

Римляне императорской эпохи считали, что императору вообще причитается «обожествление» и что обожествленный император «тотчас же делается своего рода богом, предстоящим и телесным, которому подобает всяческое поклонение»: он «священно-свят» (*sacro-sanctus*), происходит от богов и стоит под их покровительством; даже занятия его «священны». Именно поэтому Гораций объявил Августа «заместителем бога», а потом это повторил и Плиний Младший. На памятниках императоров писали: «*inter deos receptus est*» (10). Император почитался как *dominus ac deus noster*, как «*praeseus et corporalis deus*» (11). Юлий Цезарь был обожествлен при жизни, имел особый храм и особого жреца в лице Антония, который впоследствии сам объявил себя богом (12). Светоний рассказывает, что Юлий Цезарь сам учреждал себе высшие религиозные почести: так, его статуя возилась в экипаже для богов и помещалась среди статуй богов; он имел свои храмы и свои алтари (13). Октавиан Август тщетно отказывался от таких почестей в Риме, допуская их только в провинции (14). Нерон обожествил свою маленькую дочь (*diva virgo*) после ее смерти и свою жену Пoppею, которую он сам убил пинком ноги; потом он стал казнить виновных, не почитавших ее (15). Восток обожествлял чуть не всякого правителя: обожествлен был Рамзес Великий, обожествлен был Митридат царь Понта («бог-отец, бог-спаситель»), обожествлены были все императоры после Юлия Цезаря (16).

Даже император Адриан позволял льстивым грекам боготворить его и наполнил храм Зевса своими статуями (17). Клеопатра славилась как великая богиня Египта; Мессалина прославилась как воплощение Цереры, Поппея — как Юнона (18).

Поэт Манилий считал, что человек имеет особую силу и власть «делать богов», а Валерий Максим прямо выговорил: «*deus reliquis asscriptus, Caesares dedimus*» («прочих богов мы приемлем, цезарей мы создаем»). Калигула и Домициан прямо требовали своего обожествления (19). Чернь считала Цезарей обычными богами и ждала от них «явлений», «сновидений» и чудес (20). А на Востоке даже все римские проконсулы имели свои алтари (21).

Что касается жреческого достоинства царя, то оно не исчезало в истории. Буасье отмечает: «До Константина римский император был бесспорным главою национальной религии. Большие жреческие коллегии были в его распоряжении и мы видим из сохранившихся протоколов их собраний, как например у Арвальских Братьев, что они были заняты исключительно молитвами о нем. В качестве верховного жреца он наблюдал за исполнением всех обрядов, и так как в то время не было в гражданской или политической жизни ни одного акта, который не сопровождался бы религиозной церемонией, то его власть простиралась всюду. Сделавшись христианином, Константин не отказывается от этого права. Он сохранил титул верховного жреца» (22) и принимал храмы

в свою честь, что ему было облегчено тем, что он крестился только за месяц перед смертью (23).

Итак, вот тысячелетняя традиция: царь есть *верховный священник* и вероучитель и притом потому, что *в нем самом* (в том или ином смысле) *живет божественное начало*. Отсюда общая уверенность, что в делах культа монарх наиболее компетентен, ибо он сам есть особого рода бог; отсюда же и божеские почести императорам, за отвержение которых христиане шли на мучение и смерть. У поэта Пруденция судья, убеждая христианского исповедника, говорит, что хороший подданный должен верить, что лучшая религия есть та, которую исповедует император: «*quod princeps colit ut colamus omnes*». Позднее это формулировалось так: «*cujus regio, ejus religio*», т. е. исповедание монарха обязательно для всех его подданных.

В Византии слагается целая доктрина. Знаменитый канонист Вальсамон (XII век) утверждает, что византийский император обладает епископским достоинством, он назначает и судит патриарха и имеет власть над Церковью. Димитрий Хаматиан, болгарский архиепископ (начало XIII века), развивая эту мысль, пишет: «Царство установлено Богом... Царь равноценен с Богом»... Солунский архиепископ Симеон (начало XV века) пишет, что царь причащается в алтаре потому, что он помазан на царство, он владыка Церкви и в качестве благочестивого приписан к духовенству. Оба святы — и царь, и архиерей: царь — помазанием; архиерей — рукоположением (24). И в самом деле, византийские цари, как своего рода

верховные архиепископы, устанавливали вероучение по своему усмотрению, вмешивались во все мелочи церковной жизни, распоряжались церковными кафедрами, превращали патриарха в покорного чиновника, ссылали и казнили религиозно-непослушных подданных. Так, император Юстиниан издал указ, в котором предавал анафеме религиозное учение, даже не-еретическое, и писателей, признанных православными на третьем Вселенском Соборе. Император Ираклий ввел новое вероучение и притом ради политической цели: делая уступку монофизитам, он провозгласил, что у Христа было две природы, но только одна воля. Император Констанций по своему произволу собирал и распускал соборы; « моя воля — канон », заявил он на миланском соборе в 355 году (25). Императоры иконоборцы резко подчеркивали свои жреческие права. Лев III в своем сборнике законов прямо присваивает себе ту же власть, что и римские папы (26). Другие, вроде Исаака Ангела, шли еще дальше и утверждали, что между царем и Богом нет расстояния. А когда императрица Ирина изменнически ослепила своего сына, императора Константина (конец VII века), то современники писали: « и померкло солнце, и в течение 17 дней не видели лучей его и все говорили, что вследствие ослепления Царя солнце перестало испускать лучи » (27).

Тертуллиан отмечает (Apol. 28), что Цезаря более уважают и более боятся, чем Юпитера (28). И действительно, при христианских императорах говорится об их « божественном жилище », о « священной комнате » монарха; его решения на-

зываются « оракулами », а подданные, ищущие у него правосудия, обращаются « к его алтарям » (29). Тертуллиан называет почтение к царям — « религией второго величества » (30); а Григорий Назианзин пишет, обращаясь к монархам, что « Господь сам управляя небесными делами, поделил управление земными делами с монархами, а потому они призваны быть богами своих подданных » (31). Впоследствии Боссюэ скажет об императорах : « Ils sont des dieux et participent en quelque façon à l'indépendance divine » (32).

Подобные воззрения распространены и на Западе. Древние германские короли всегда имели *жреческие права* и возводили свое *происхождение* к богу Одину. В истории Беды читаем : « *Vodan, de cujus stirpe multarum provinciarum regium genus originem duxit* »... Христианство очистило и облагородило это учение, но идея « царя Божией милостью » не угасла. В песне о Роланде император имеет внешность жреца, жесты, слова и приемы епископа; он благословляет армию как папа; и послов своих он благословляет « именем Христа и своим » (« *A l'Jhesu e a l'mien* »). Епископ Катвильф пишет Карлу Великому : « *Tu es in vice illius (Dei)...* Et episcopus est in secundo loco, in vice Christi tanquani », т. е. император замещает Бога-Отца, а епископ занимает лишь второе место, замещая как бы Христа... (33).

Вот династия Капетингов (XI век) и король Роберт Благочестивый, который является главою франконской церкви и для которого монах Гуго Флерийский требует сана « верховного епископа ». Король не только следит за исполнением канонов,

но и за установлением вероучения; он созывает соборы, судит и сожигает еретиков. Королевский род считается как бы божественным; королевская власть имеет священный характер; династия считается богоизбранной и даже индивидуальное помазание на царство необязательно (34). Тому же королю Роберту Фюльбер Шартрский писал «*sap-te pater*», «*Tua sanctitas*» (35). Короли считались представителями Бога на земле (36). Еще в *Lex Langobardorum* (*Edictus Rothari*, 2) писалось: «*Corda regum in manum Dei credimus esse*» и, например, приговор к смертной казни, произнесенный королем, должен был быть приведен в исполнение без вины и ответственности для казнящего. Уже с XIV века в Германии изображают Бога-Отца в облики Императора, в Англии и во Франции в виде короля.

«Нет сомнения», пишет Людовик XIV в поучении дофину, «что государи в известных действиях своих являются, так сказать, *наместниками Бога и потому как бы причастны Его всеведению и Его всемогуществу*; так, например, в оценке способности людей, в распределении должностей и в даровании милости» (37). Подтверждается ли это исторически — это другой вопрос; но по сравнению с претензиями Калигулы и Домициана эти слова свидетельствуют о значительном отрезвении.

Поучительно, как это обожествление царей переживалось в России. Так у Иосифа Волоцкого (1440-1515) читаем: «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, *властию же подобен* есть вышнему Богу» (38). «Князь, любя суд и правду,

небо есть земное и душа его престол Христов»; «Бог в себе место избра вас на земли и на своем престоле, взнес, посади» (39). «Слышите цари и князи и разумеите, яко от Бога дана бысть держава вам, яко *слуги Божии* есте...», «вы же... убойтесь серпа небесного и не давайте воля зло творящим человеком» (40). В этих указаниях Иосиф Волоцкий подходит к такой грани, которую люди без богословского образования соблюсти не могли. Герберштейн (1486-1566) рассказывает (41): советники Василия III «открыто признают, что *воля князя есть воля Бога, и что князь делает, то делает по воле Божией*. Поэтому они называют его Божиим ключником, постельником, и верят, что он исполнитель воли Божией». Иоанн Грозный, сын Василия III, как будто призван был — научить русских людей более трезвому, тонкому и глубокому пониманию царской власти. Домострой настаивает: «Царя бойся и служи ему верою... яко самому Богу и во всем повинуйся ему; аще земному Царю правдою служити и боятися его, тако научитися и Небесного Царя боятися...» Своеобразное понимание находим мы в устах Петра Великого. В морскую бурю, в шлюпке он говорил оробевшим матросам: «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог» (42). Историки запомнили его застольные тосты: «За здравие тех, кто любит Бога, меня и отечество». В этом нельзя видеть обожествления: в обращении к матросам звучит вера в *богохранимость* Царя; в тостах — сознание себя слугою Божьего дела, отвечающим перед Богом за отечество... Совсем иначе воспринималось всё это простым народом. Ключевский

рассказывает, что в 1767 году при народных встречах Императрицы Екатерины на Волге « в Казани люди готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой царицей » (43).

На Востоке и на Западе масса верила в священность царской особы настолько, что ждала от монарха *исцеления больных*. Так, по Плутарху (44), эпирский царь Пирр исцелял больных прикосновением. Историки Рима, и в том числе Светоний и Тацит, рассказывают о чуде, которое император Веспасиан совершил якобы по указанию бога Сераписа в Александрии в 71 году : в самый момент его фактического воцарения, когда он сам еще сомневался в нем, слепой и сухорукий прикоснулись к нему и получили полное исцеление. Спартиан сообщает подобное этому об императоре Адриане. Лауренций рассказывает такое же о короле Хлодвиге, исцелившем своего офицера от золотухи простым прикосновением (509) (45). Этот дар последовательно переходил из династии в династию от Меровингов к Каролингам, а потом к Капетингам (46). Следы этой веры отмечаются еще в XIX веке : так, Людовик XVIII совершил тотчас же после своего коронования несколько исцелений (47).

Из всего этого явствует, что идея монархии « Божией милостью » есть идея древняя, как сама история человечества, и что она пережила существенную эволюцию в правосознании человечества. Сохраняя свою основу, она менялась и в обосновании, и в объеме, и в выводах.

1. Древнейшее субстанциальное и мифологическое обоснование дано в законах Ману: царь сотворен из частиц божественных субстанций.

2. Царь от Бога потому, что ему присуще особое боговидение и боговедение (Аменхотеп IV в Египте, греко-римские цари-жрецы);

3. Или потому, что царю сообщается особая благодать ко управлению в особом акте помазания (идея еврейской Библии, принятая потом в православной Византии и на католическом Западе);

4. Или потому, что образ царского Величества есть земное подобие Божьего Величия на небесах (Боссюэ, Иосиф Волоцкий);

5. Или потому, что царская власть, как и всякая благая государственная власть, установлена Богом и служит Его делу (Апостол Павел и Отцы Церкви);

6. Или потому, что царь есть представитель или наместник Бога на земле (франконская идеология X и XI веков);

7. Или потому, что « сердце царя » (то, что римляне называли « *noumen imperatoris* ») таинственно находится « в руке Божией » (*Lex Langobardorum*; срв. у Герберштейна о России);

8. Или же, наконец, потому, что царь получает свои права на путях иррациональных, естественных, вне человеческого произвола совершающихся — по наследству, по рождению, по жребью, от природы: он посылается от Бога, предназначается милостию Божией...

Так или иначе, но к самой сущности монархического правосознания принадлежит идея о том,

что царь есть особа священная, особливо связанная с Богом, и что именно это свойство его является источником его чрезвычайных полномочий, а также основой чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, его чрезвычайных обязанностей и его чрезвычайной ответственности.

Именно поэтому он призван — *искать и строить в себе праведное и сильное правосознание*. Эти обязанности суть прежде всего обязанности *внутреннего духовного делания и самовоспитания*; они должны осмысливаться как *религиозные*.

Понятно, что в *республиканском правосознании* всё это отсутствует. Из двух исходов — персонифицировать государственную власть и соответственно вознести властвующую персону в полномочиях и обременить ее величайшими обязанностями, или же снять совсем эту проблему государственного сосредоточения, разгрузить власть, рассосать это бремя и заменить царя чиновником, с малыми полномочиями, — республиканское правосознание предпочитает решительно и бесповоротно второй путь. Ему нужна не персона, а *рядовой политик из обывателей, избираемый на срок, ответственный* перед парламентом и народом, по возможности удовлетворяющий элементарным требованиям гражданской чести, во всяком случае *публично не слишком опороченный*; ему нужно знать, что этот срочный чиновник старается руководствоваться доступными ему соображениями государственной пользы и что против его возможных злоупотреблений имеются известные *гарантии*. За пределами этого республиканское правосознание не терпит никакого особого

значения у главы государства, и то, что происходит в монархическом правосознании, не находит себе у него ни сочувствия, ни даже отдаленного понимания. Вся эта монархическая концепция и традиция кажется республиканцу собранием предрассудков, устарелых суеверий, унижительных чудачеств, а может быть даже проявлением политической глупости, наивности, темноты, или, еще хуже — корыстной симуляции. Со всем этим республиканец не может мириться: при столкновении он пытается с этим бороться, как с опасным и вредным душевным состоянием; в лучшем случае он идет мимо всего этого, презрительно и опасно пожимая плечами...

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

- 1) Против такого верхоглядства возражает В.И. Герье («Республика или монархия», 11).
- 2) Срв. часть I, гл. 4; часть IV, гл. 1, 4, 12, 16 и др.
- 3) Книга VII, стихи 3 и сл.
- 4) См. у Frazer, «Le Rameau d'or», гл. VI.
- 5) «La Cité antique».
- 6) Гимны Атому. См. «Первоисточники религии древнего Египта»; срв. Морэ, «Цари и боги Египта», 49.
- 7) Кн. I, гл. 20.
- 8) «Древняя гражданская община», 161, 160.
- 9) Фюстель де Куланж, 164.
- 10) Boissier, «Religion Romaine», I, 82, 115-120, 134, 136, 139-143.
- 11) Harnack, «Lehrbuch der Dogmengeschichte», I, 103.
- 12) Корелин, «Падение античного мирозерцания», 24.
- 13) «De vita Caesarum. G.J. Caesar», 76.
- 14) Светоний, «Август», 52; срв. В.И. Герье, «Август», 465.
- 15) Boissier, «Religion Romaine», I, 194-195.
- 16) Там же, 127-149.
- 17) Корелин, 49; Буасье, 126-128.

- 18) Boissier, 163.
- 19) Boissier, 193, 199.
- 20) Там же, 200.
- 21) Там же, 127.
- 22) Буасье, « Падение язычества ».
- 23) Дюшэн, « История древней Церкви ».
- 24) Безобразов, « Очерки византийской культуры », 58-59.
- 25) Там же, 59-62
- 26) Там же, 59-60, 66.
- 27) Там же, 30.
- 28) Буасье, « Падение язычества », 548.
- 29) Там же, 32-33.
- 30) Martin, « Lehrbuch der kath. Moral », 790.
- 31) Там же, 788.
- 32) « Politique tirée de l'Ecrit. Sainte », — Boissier, « Rel. Rom. », I, 207.
- 33) Flach, « Les origines de l'ancienne France », III, 246.
- 34) Там же, 241-242, 253-256.
- 35) Там же.
- 36) Там же, 144.
- 37) Герье, « Республика или монархия », 12.
- 38) « Просветитель », Слово 16.
- 39) « Наказание Князьям ».
- 40) Слово 13.
- 41) « Regum Moscovitarum commentarii ».
- 42) Ключевский, « Очерки и речи », 511.
- 43) Там же, 366.
- 44) Pyrrhus 12.
- 45) См. у Maury, « Croyances et légendes du Moyen-âge », 363.
- 46) Flach, « Les origines de l'ancienne France », III.
- 47) См. у Коркунова и у др.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Основные предпочтения — 2

1

Если попытаться свести указанные мною особенности монархического правосознания к единой и простой формуле, то можно было бы сказать, что симпатии и воззрения монархиста склоняются к *иррационально-интуитивному* восприятию жизни и политики, а симпатии и воззрения республиканца — к *сознательно-рассудочному* толкованию мира и государственности. Это обнаруживается в целом ряде последствий и выводов.

Так, монархическому правосознанию присуща склонность созерцать *историю народов и природу человека* как нечто *Богом даруемое и данное*, как цепь событий Богом установленную и ведóмую. Монархическое правосознание есть вообще не столько « сознание », сколько « чувство », духовно-инстинктивное восприятие или « ощущение », подьемлющееся из глубины человеческой души; оно укоренено в укладе инстинктивной духовности, — веры, любви, совести, художества, чувства ответ-

ственности, привычной дисциплины; оно как бы вращено в эту сферу и вырастает из нее. Мало того, оно воспринимает и самого субъекта, носителя и осуществителя этого правосознания, как некое *иррационально-духовное* творение Бога, как индивидуальное порождение мира, природы и истории. Человеку с таким правосознанием нельзя ни «втолковать», ни внушить, что человек есть объект *произвола* или *продукт случайностей*, ибо он чувствует себя естественным, органическим порождением бого-созданной природы, в которой всё закономерно, но не по законам слепой или материальной причинности, а по законам внутренней, *Богом ведбмой целесообразности*.

Монархическое правосознание не склонно верить в случай, да еще в слепой случай. И судьба для него не игра хаоса и не неизбежный фатум, и не развертывание механических причин и следствий, а *дело Провидения*. Именно отсюда у монархистов вера в «природного» или «прирожденного» Царя. Иррационально-естественный процесс человеческого рождения («наследование! наследник!») есть для них не случайный факт, а органическое, т. е. таинственно-целесообразное и руководимое Провидением событие. Из двух толкований — «всё зависит от человеческого произволения, которое выше судьбы и природы» и «всё возникает из руководимого Богом органически-иррационального, внутренне-целесообразного процесса», — монархист склоняется ко второму, а республиканцу гораздо ближе и понятнее первое.

Духовно-органическое толкование «естества» связано исторически с целым рядом древних обы-

чаев, восходящих к седой старине. Самый процесс человеческого выбора, усилия, одоления люди древности осмысливали духовно и религиозно. Таков, например, обычай древних « поединков », средневековых « ордалий » или русского « поля ». Напрасно позднейший рационализм изображает этот « суд Божий » как попытку найти *правоту* посредством *грубой силы* или случайной удачи. На самом деле здесь преподносилось людям *законное* и *богоугодное* первенство духа над силой, религиозное искание правоты по образцу Гектора с Аяксом в Илиаде (песнь VII, 178-180) или по образцу Давида и Голиафа. К Богу обращались сами борющиеся и до поединка и во время поединка; нередко и окружающий народ молился вслух о ниспослании победы не сильнейшему, а правому; и нередко неправый силач оказывался сраженным и поверженным не столько благодаря силе противника, сколько через смятение его злой совести и благодаря подъему доброй совести у победителя: это было своего рода *всенародное заклятие зла* и *молитвенное ободрение добра*, от которого правый окрылялся, а неправый испытывал религиозно вызванный паралич воли.

В этом же направлении религиозное правосознание осмысливает и начало *жребия* (апелляция не к случаю, а к Провидению!) и начало *выборов*, когда оно к ним обращается. Имеется в виду « Боговедóмость » голосующих на подобие голосования догматов на Вселенских Соборах, голосования, которое секуляризованному республиканцу всегда будет казаться безнадежной попыткой найти откровенную истину по случайному боль-

шинству человеческих мнений, а для верующего человека останется явлением божественного вдохновения и молитвенного озарения.

Именно в этой связи можно было бы установить, что монархическое правосознание, испытывающее жизненную силу духа в пределах собственного инстинкта, имеет все предпосылки для веры в чудо: ибо если «мой» слабый дух способен к преодолению и подчинению себе моего животного инстинкта (что само по себе уже чудесно!), то как же не допустить мне, что Дух Божий ведаёт высшие пути и судьбы и держит в своей власти всю природу, и внешнюю, и внутренне-человеческую? Всё в жизни таинственно-сложно; всё в мире ведётся Провидением. И то, что слепым людям кажется «невозможным» или «чудесным», есть естественно-сверхъестественное проявление Божией воли... — Понятно, что республиканскому правосознанию чужд весь этот комплекс идей и чувствований как «мистически-фантастический» пережиток и как проявление «реакционной непросвещённости»...

Вот почему можно сказать, что религиозно укоренённое правосознание будет скорее склоняться к монархической форме, а секуляризованное и безрелигиозное правосознание — к республиканской (индивидуальные исключения всегда остаются возможными). Для республиканского правосознания характерна вера в *нестесненное человеческое изволение*, которое осмысливается как начало, стоящее выше «судьбы» и выше «природы», и которое не связано ни с каким религиозным поклонением. Республиканцу кажется стран-

ным и неумным — решать вопрос о житейской и политической пользе в зависимости от «слепого случая». Жребий есть случай. Рождение человека от человека есть дело политически безразличное, биологически объяснимое, но не могущее притязать ни на какое особенное связующее значение; во всяком случае, здесь нет целесообразного политического изволения. Сколько раз, спросит республиканец, у хорошего монарха рождались плохие или негодные сыновья, — глупые, отсталые, совершенно не интересующиеся государственным делом и неспособные к нему? Допустим, что отец был хорошим правителем; но разве государственные способности обеспеченно передаются по наследству, и притом всегда старшему сыну? И можно ли судьбу целого народа ставить в зависимость от такого несчастного случая (рождение неудачного сына у государя), да еще закреплять эту судьбу пожизненностью, безответственностью, непосильною для молодого человека уполномоченностью, с совершенно необоснованною надеждою на то, что от этого неудачного наследника родится впоследствии более удачный старший сын? И вот весь династический вопрос, бесспорно разрешаемый в глазах монархиста идеями Провидения и боговедóмого естества, оказывается для республиканца проявлением необоснованного «предрассудка», продуктом мистически искаженной слабости политического суждения. Тогда республиканец ставит недоумевающий вопрос: «Вот имярек — не глуп и не изувер; как же он может быть монархистом?!»...

Поучительно отметить республиканский подход

к этой проблеме у такого выдающегося короля, как Фридрих Великий прусский: «Случай, господствующий над человеческой судьбой, решает вопрос первородства. Но от того, что человек — король, он еще не становится лучше других» (завещание от 8 января 1769 года). Во всяком случае, Вольтер и Дидро были бы довольны таким воззрением, а революционная Декларация Прав могла бы только добавить: «ибо люди рождаются равными»...

2

В ближайшей связи с этим стоит склонность монархического правосознания к *семейственному* созерцанию государства и к *отеческому* осмыслению верховной государственной власти. В этом оно проникнуто древним, до-историческим духом.

Еще в Одиссее мы видим, что «вожди семей носят» пышное имя «владык» (anactes) и «царей» (basileis); афиняне первобытной эпохи называли «царем» вождя или главу рода (genos), а римские клиенты удержали для главы рода название «rex» (царь). Итака была маленьким островом, но имела много подобных царей 1). Отец, домовладыка — есть первый «единовластник» (мон-арх) в истории. Слово «отец» везде, и у нас в России, характеризует всякого почтенного, уважаемого, авторитетного мужчину: этим выражается идея могущества, власти, величия, относимая в религиозном созерцании и к Бгу.

Где-то, в самых корнях своих монархическое

правосознание *патриархально*, « фамилиарно », может быть даже « патримониально »; оно склонно переносить строй семьи в государство, а строй монархии в семью. Пока люди будут жить семьями, и притом единобрачными (моногамия!) и особенно едино-отеческими (моноандрия!), до тех пор в человеческой душе будут вновь и вновь оживать, от самой природы вложенные в нее, *монархические тяготения*.

Надо признать, что Платон, желавший растворить семью в коллективе, по принципу « у друзей всё общее », подрывал тем самым один из главных источников монархического правосознания. Подобно этому всякий коммунизм, распространяемый на семью и отменяющий ее, — имеет антимонархическую тенденцию. Для республиканского же правосознания — патриархально-семейственное восприятие государства и верховной власти чуждо или даже неприемлемо, если не считаться с античной формой семьи. Мало того, самая республиканская идея семьи не тяготеет к признанию преимущественного ранга родителей. И это естественно, ибо республиканская идея « равенства » проникает незаметно и в семейный строй.

Республиканское правосознание постепенно теряет идею родовой принадлежности, чувство кровной связи через общего предка. Оно несет с собою идею кровно-несвязанной совокупности, идею множества « рядом-жителей », человеческих « атомов », которым должны быть обеспечены — прежде всего « свобода », потом « равенство » и наконец столько « братства », сколько его останется после расщепляющей свободы и после всеснижа-

ющего равенства. В сущности говоря, это «братство» всегда остается пустым словом, слабым и мертвым отголоском родового-семейного строя, когда о братстве говорила единая кровь общего происхождения. Рядом-жительствовавшие атомы никогда не станут *братьями*, менее всего при социализме или коммунизме. Республиканство есть такой уклад гражданственности, в котором водворяется не братство, а по меткому выражению Константина Леонтьева, *уравнительное всесмешение*.

Уже в древней истории именно отмирание родовой собственности и ослабление патриархальной стихии (Греция! Рим!) отодвигало значение царей и постепенно приводило к республиканскому строю. И обратно: именно в тех республиках, где начало семьи, отеческой власти, рода, родovitости и генеалогии сохранялось, слагалась аристократическая республика с возможностью неожиданной реставрации монархической формы в том или ином виде (вспомним эпоху Возрождения в Италии и, в частности, правление Медичи во Флоренции — этих наследственных, некоронованных республиканских царей из купеческой знати).

3

Характерное и устойчивое отличие монархического правосознания это, далее, культура *ранга* в человеческих отношениях вообще и в государственном строительстве в частности.

Когда мы говорим о ранге, то мы отнюдь не должны представлять себе условное, искусствен-

ное или принудительное преимущество одного человека или одного сословия перед другим. Ранг есть прежде всего вопрос качества, и притом *подлинного* качества; признание ранга есть потребность искать и находить *качественное преимущество*, придавать ему полное значение, уступать ему жизненную дорогу и осуществлять это не только в повседневной, но и в государственной жизни. Напрасно поверхностные политики республиканского образа мыслей сводят идею ранга к тому, что в монархиях образуются «неподвижные сословия», чуть ли не «касты», во всяком случае правящие и богатые слои, в которые «совсем нет доступа», или доступ в которые труден лицам других не «привилегированных» слоев или сословий. Исторически так бывает, но совсем не только в монархиях, а и в республиках — то аристократических, то грубо-партийных. Зато история монархии знает и совершенно обратное. Именно волевые и созидающие государи обычно обнаруживают желание находить повсюду качественных людей, обладающих опытом, силою суждения, честностью, прозорливостью и волевою энергией. История рассказывает нам и о явлениях болезненных преувеличений в борьбе между монархом и окружающей его аристократией, когда монарх бывал склонен не только освободиться от давления и от интриг привилегированного сословия, но принимался почти за искоренение его (римские цезари, Людовик XI во Франции, Иоанн Грозный в России). Но наряду с этим мы знаем государей, искавших мудрого совета и государственно способных людей

совершенно независимо от их происхождения. Именно таким рисует немецкий историк Ранке французского короля Генриха IV. То же воззрение мы видим в особенности у молодого Людовика XIV, который уже в детских годах испытал, к чему способна фрондирующая аристократия и чего можно ждать от нее: он научился не полагаться на родовитость и на титулы, а искать способных (что для него было равносильно — « послушных ») людей и выдвигать их в управлении государством. Именно в силу этого ему удалось найти Кольбера, сына простого купца. К сожалению, впоследствии он изменил этому правилу под влиянием непомерно развившегося в нем тщеславия 2). Вспомним еще образ действий одного из величайших монархов всемирной истории, — Петра Великого, у которого уличный пирожник Александр Меншиков стоял рядом с графом Шереметевым, а заезжие иноземцы Лефорт и Брюс служили государству рядом с князьями Репниным и Яковом Долгоруким. Фридрих II прямо выговаривал: « великий человек не нуждается в предках » (срв. запись его от 1759 года); « высокое рождение есть химера, если к нему не присоединяется заслуга » (запись 1751 года).

Поучительно вспомнить в этой связи политическое правило, проводившееся одинаково Людовиком XIV 3) и Фридрихом Великим: *не привлекать к делам управления принцев крови*. Фридрих выражал это так: « Лучшее обхождение с принцами крови состоит в том, чтобы осыпáть их внешним почетом, но удалять от государственных дел, доверяя им военное командование только при

полной уверенности в их таланте и характере » (Политическое завещание 1752 года). Мотивом и основанием в пользу такого образа действия была, по-видимому, невозможность возлагать настоящую политическую и деловую ответственность на принцев крови : приходилось бы покрывать их упущения и мириться с их неспособностью, а государственное дело страдало бы от этого.

Итак, говоря о « ранге », я имею в виду *качественный ранг людей* и способность радоваться ему, а не интриговать против него. Эта идея была раскрыта с особенной глубиной и силой у Карлейля 4). Этот глубокомысленный историк совершенно прав, придавая идее « ранга » — *религиозный смысл*. Ибо высшее качество (Совершенство !) и абсолютный ранг человек научается созерцать и чтить именно в Боге. Нет ничего важнее в воспитании человеческого духовного характера, как именно сообщение человеку умения ставить себя перед лицом Божие и измерять свое несовершенство — *Его* совершенством. Это сообщает душе смирение, трезвение, свободу от зависти и способность радоваться верному качеству всюду, где оно обнаруживается. Где этого нет, там царит зависть и интрига. Но именно в этом великая воспитательная сила монастыря, армии, школы и монархии. Где угасает или вырождается чувство объективного ранга, там монархия незаметно слабеет и республиканизируется.

Люди от природы и в духе — не равны друг другу и уравнивать их никогда не удастся. Этому противостоит известный республиканский пред-рассудок, согласно которому люди рождаются равны-

ми и от природы равноценными и равноправными существами. Напротив, монархическое правосознание склоняется к признанию того, что люди и перед лицом Божиим и от природы *разнокачественны, разноценны* и потому естественно должны быть *не равны в своих правах*.

Не следует думать, будто республиканский эгалитаризм ведет свое начало от французской революции и, в частности, от ее пресловутой «Декларации прав человека и гражданина». Тяготение к равенству есть одна из основных человеческих слабостей, которая обнаруживалась еще в древности, и иногда притом в самых острых и разрушительных формах. В свое время идея «равенства» получила мощный толчок и поддержку от христианского воззрения на бессмертие человеческой души, на веру и Благодать, на добродетель и страшный суд, ибо это воззрение выдвигало на первый план именно те пункты, в которых люди как бы «уравниваются» перед лицом Божиим. Но уже Апостол Павел предупреждал верующих против эгалитаризма: «звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 39–44): именно «равенство» людей перед лицом Божиим обнаруживает их *неравенство в деле подлинного христианского качества*. Возможно, что влияние христианства укрепило бы эгалитарное тяготение массы, если бы Апостолы и отцы Церкви не выдвинули *новое* учение о *новом* неравенстве и не установили необходимости земного ранга, а также учения о нарочитой призванности и помазанности царей.

Человек всегда и во все эпохи искал *преимуществ для себя* и предаваясь этой претензии соз-

давал химеру « равенства людей от природы » (как ни парадоксально это звучит). Вообще говоря, человеку свойственны две различные интенциональные установки, создающие два различные человеческие типа. Одни сосредоточивают свое внимание и свое сочувствие на *сходном* у людей, признают это *сходное существенным* и выдвигают требование — *сходное должно быть политически и хозяйственно уравнено*. Другие сосредоточивают свое внимание и сочувствие на *несходном*, на *различном* у людей, признают *несходное существенным* и настаивают на том, что *справедливость требует различной квалификации и неравного обхождения с теми, которые по существу своему различны и разноценны*.

Понятно, что дело не в « сходстве » и не в « различии », а в *духовно-существенном* сходстве и различии, и, далее, в *политически-существенном* различии и сходстве. И вот, история показывает нам, что *духовно- и политически-несущественные* различия слишком часто выдаются за существенные; или, что то же самое, — *мало-существенные* различия политически переоцениваются и принимаются за *единственно-существенные*. Это неверное, непредметное разрешение вопроса открывает настежь двери безудержным эгалитаристам; таковы, например, все политические уклады, построенные на одном *имущественном* цензе (правление богатых), или на *кровном происхождении* (правление сословно-кастовое) и т. д.

На самом же деле справедливость требует не « равенства » и не « привилегий », а *предметного*

уравнения и предметно-справедливых привилегий. Справедливо, чтобы люди, совершившие однородные преступления, одинаково привлекались к суду; чтобы люди с одинаковым доходом платили одинаковый подоходный налог. И в то же время справедливо, чтобы беременные женщины имели известные привилегии; чтобы преступники и душевно-больные были лишены права голоса; чтобы государственные должности давались талантливым, умным и честным людям и т. д. Привилегии должны быть предметно-обоснованы. Необходимо умение *верно, жизненно и творчески* распределять ранг. Ибо *непредметные привилегии* компрометируют начало *справедливого неравенства* и пробуждают в душах склонность не к справедливости, которую Платон называл «распределяющей», а к *несправедливому, непредметному уравнению всех во всем.*

Это можно было бы выразить так: *безудержный эгалитаризм, враждебный всякому рангу, есть дитя непредметного ранга.*

И вот, *республиканское правосознание* сосредоточивается на человеческих сходствах, особенно на сходствах в потребностях, в эгоистическом интересе, в требовании личной свободы, политической свободы и имущественного состояния. Эти сходные потребности и претензии оно признает существенными и требует для людей *равенства*: чем больше равенства в правах и в социальных возможностях, тем якобы лучше, тем справедливее данный строй. Напротив, *монархическое правосознание* сосредоточивается на человеческих несходствах, особенно на различиях рождения, на-

следственности, воспитания, образования, воли и одаренности. Эти различия оно признает за существенные и видит справедливость в соответствующем неравенстве; существующие привилегии лучше не отменять, а поддерживать.

У республиканского правосознания всегда имеется *предубеждение против всякого неравенства*, особенно связанного с рождением, наследственным правопреемством, воспитанием, образованием, талантом и волею. А у монархического правосознания обычно имеется *предубеждение против всех уравнилельных мероприятий*, особенно связанных с потребностями, вкусами, с политическим полноправием и имущественным состоянием. Республиканское правосознание обычно бывает склонно — дать право голоса женщинам, понизить политический возрастной ценз, обложить высокой пошлиной наследства, отменить майораты, оспорить всякие права и преимущества короны, ввести избираемость, срочность и ответственность для главы государства, отменить гвардию, отказать в субсидии дворянскому интернату, отделить Церковь от государства, экспроприировать имущественные верхи, ввести совместное обучение мальчиков и девочек, открыть женщинам доступ в адвокатуру и парламент и т. д. Зато монархическое правосознание готово упорно оспаривать наличность тех «одинаковостей», на которые при этом ссылается республиканец: оно будет настаивать на том, что женщину не следует вовлекать во все страсти, пошлости и интриги политической жизни, ибо женщина имеет лучшие и интимнейшие задания, драгоценные для государства; оно будет указывать

на необоснованность и опасность всеобщего избирательного права, ввиду обилия необразованных и глупых людей (« олухов », по выражению Карлейля); оно будет склоняться к выдвиганию людей более зрелого возраста, более независимых в имущественном отношении, более квалифицированных в смысле политического опыта и честности; оно будет поддерживать религиозное единение с Церковью, образовательный ценз, гвардию, майораты; оно всегда предпочтет независимого, наследственного, пожизненного главу государства и так далее...

Всё это примеры, не более; но эти примеры показывают основную установку правосознания, склонность, образ мыслей, критерии оценки. Монархическое правосознание остро чувствует разнокачественность, разноценность, своеобразие людей; и в этом оно приближается к аристократическому республиканству, не желающему, впрочем, сделать последовательный вывод применительно к главе государства.

Для монархиста же монарх есть аксиоматическое явление *правового и социального ранга*, — земное признание и подтверждение первичного, основного и священного ранга, явленного в религии. Это-то и чувствуют обычно республиканцы и потому они направляют свою энергию на борьбу с этою земною « мнимой божественностью » человека, стремясь сорвать, свалить, скомпрометировать и угасить у всех в правосознании это явление *неоспоримого для монархиста священного государственного ранга*. Для республиканцев — люди от природы « равны »; идея ранга шокирует и возму-

щает их. В естественное равенство людей веруют одинаково греческие софисты и Марк Юний Брут, французские якобинцы и русские социалистические партии. И наоборот: всякое доказательство того, что существует на свете *предметное неравенство*, что оно по справедливости требует и *неравенства в правах* — может быть встречено негодованием со стороны республиканцев; а всякое обоснование *естественного ранга* и его *культы* может натолкнуться у них на прямую ненависть. Учение Аристотеля о «рабстве от природы» оттолкнет всякого эгалитариста: «раб от природы тот, кто причастен разуму лишь настолько, чтобы понимать (чужие) мысли, но не настолько, чтобы иметь (свои)»; он предназначен не к управлению государством, а к физическому труду 5). Совершенно так же отвергнет эгалитарист и учение Томаса Карлейля.

Как не вспомнить мудрые и точные слова этого глубокомысленного историка: «Не может человек более печальным образом засвидетельствовать свое собственное ничтожество, как выказывая неверие в великого человека. Нет более печального симптома для людей известного поколения, чем подобная всеобщая слепота к духовной молнии, с одною верою лишь в кучу сухих безжизненных ветвей. Это — последнее слово неверия»... «Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его и вы получите вполне совершенное правительство; и никакой баллотировочный ящик, парламентское красноречие, голосование, конституционное учре-

ждение, никакая вообще механика не сможет уже улучшить положение такой страны ни на одну иоту... Это был бы идеал конституции»... «Я утверждаю: укажите мне истинного Konning'a или способного («могущего») человека — и окажется, что он имеет божественное право надо мною»... «Все социальные процессы, какие только вы можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели(...), а именно: открыть своего Ableman (способного человека) и облечь его символами способности — величием, почитанием, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности» 6). В таких выражениях заключается прямой вызов всем безрелигиозным людям, всем эгалитаристам и республиканцам, который может вызвать в их среде только величайшее негодование. Но этот вызов должен быть еще сопоставлен со словами одного из отцов французской революции, того пробудителя республиканского правосознания, который провел сам три года при королевском дворе в Пруссии; я имею в виду Франсуа-Мари Вольтера: «Что касается до меня, то я думаю, что так как *надо повиноваться*... то лучше повиноваться породистому льву (*un lion de bonne maison*), который от рождения гораздо сильнее меня, чем двумстам крысам моего рода»... 7).

Итак: монархическое правосознание склонно культивировать *ранг в ущерб равенству*, а республиканское правосознание склонно культивировать *равенство в ущерб рангу*.

С этим связано еще одно отличие монархического правосознания от республиканского, которое должно быть отмечено и признано, однако без преувеличений. Именно, монархическому правосознанию свойствен известный *консервативный* уклон, нередко совсем не свойственный республиканскому правосознанию. Монархия как строй имеет свои определенные *традиции*, на которых она покоится, которыми она дорожит и от которых неохотно отступает. Монархическое правосознание не склонно к скорому и легкому *новаторству*; напротив, оно склонно к выжиданию, к блюдению наличных законов; оно не охотно решается на радикальные реформы и, во всяком случае, берется за них только тогда, когда они *назрели*. Эта склонность *беречь наличное*, опасаться неизвестного нового, взвешивать его всесторонне и отклонять его, обусловлена, конечно, *религиозными, родовыми и ранговыми* основами монархического правосознания. Монархисту часто кажется, что неизвестное лучшее погубит имеющееся уже благо (срв. французскую поговорку «*le mieux est l'ennemi du bien*»; по-русски, «от добра добра не ищут»); что лучше не разлаживать привычный порядок и не рисковать, не пускаться в политические приключения. Монархист хорошо понимает жизненную силу рутины, но именно поэтому он нередко способен вызывать в жизни застой, неподвижность и то, что республиканцы называют совсем не точно «реакцией»; ибо монархический консерватизм требует *соблюдения*

наличного и недоверия к новшествам, а совсем не « движения вспять »...

Напротив, республиканскому правосознанию, не связанному ни религиозными, ни родовыми, ни сословными, ни ранговыми мерилami, всякая реформа, благоприятствующая « свободе », уравнию и удовлетворению действительных или мнимых вожделений простого народа — кажется естественной, подобающей и только напрасно задерживаемой « реакционерами ». Новое не отпугивает республиканцев, а привлекает. Всякое движение влево (начиная от конфискации церковных имуществ и кончая социализмом) нередко кажется им сущим « усовершенствованием » жизни и социального устройства. Слова « прогресс », « гуманность », « свобода », « равенство » переживаются так, как если бы каждое из них выражало некую неоспоримую « аксиому » « добра » и « света ». И если бы неумолимые реальности хозяйства, здоровья, порядка и культуры не ложились на весы здоровым и драгоценным жизненным балластом, то республиканское правосознание могло бы впасть в безудержную и беспочвенную « динамику » химерических реформ, всё более приближающихся к анархии.

Однако ни консервативность монархического правосознания, ни новаторство республиканского — не следует ни преувеличивать, ни обобщать.

С одной стороны, политически зоркий и, главное, патриотически-бескорыстный монархист — имеет достаточно оснований и побуждений для того, чтобы задумывать и проводить великие реформы. Исторически это не нуждается в доказа-

тельствах: достаточно вспомнить историю всех великих монархий, устройство и возвышение коих творилось конечно не республиканцами. Назовем хотя бы Ришелье, Мазарини и Кольбера в истории Франции; барона фон Штейна и Бисмарка из истории Германии; князя В.В. Голицына, А.Л. Ордина-Нащокина, сподвижников Петра Великого и Александра Второго, П.А. Столыпина в истории России. Но, конечно, главный источник прогресса в монархиях — это сами государи. Нет ничего нелепее и несправедливее, как утверждать, будто монархия означает реакцию, а республика — прогресс. Такое утверждение заставляет всегда поставить вопрос о самом утверждающем: сознательно ли он говорит неправду или является жертвою собственной необразованности? Ибо в действительности история давно уже имеет особый «пантеон» великих государей, которым их народы обязаны своим бытием, хозяйственным и культурным расцветом. Назовем здесь в виде высокого образца лишь немногих: из царей Македонии Александра Великого (356-323 до Р.Х.), Антигона I Гоната (320-239) и Антигона II Дозона (229-221); римских императоров Октавиана Августа (63 до Р.Х.-14 по Р.Х.), Траяна (99-117), Адриана (117-138), Антонина Пия (86-161) и Марка Аврелия (121-180); из византийских — Юстиниана I (483-565), Никифора Фоку (913-969), Иоанна Комнина Доброго (1118-1143); Гарун-аль-Рашида Багдадского (786-809); короля английского Альфреда Великого (871-901); короля сербского Стефана Душана (1336-1356); царя болгарского Симеона Великого (888-927); из французских королей — Карла V Мудро-

го (Валуа, 1360-1384), Генриха IV Бурбона (1553-1610), Людовика XIV (1638-1715); великого курфюрста Бранденбургского Фридриха Вильгельма (1620-1688); Фридриха II короля прусского (1712-1786); царя Алексея Михайловича (1629-1676), императора Петра Великого (1672-1725) и императора Александра II (1818-1881). — Все эти государи своеобразны и различны; а пантеон великих монархов нисколько не исчерпывается их именами.

С другой стороны, судьба республиканских партий в том, что их новаторство обычно скоро выдыхается после их политического торжества. Проблемы здорового хозяйства, элементарного порядка, судопроизводства, путей сообщения, необходимой государственной обороны, гигиены и комфорта — отрезвляют значительную часть республиканцев, несклонных к демагогическим авантюрам, и заставляют их мыслить не столько о создании нового, сколько о *закреплении наличного*. Образуются консервативно-республиканские партии, предпочитающие частную собственность — социализму, личную безопасность — процветанию гангстеров и апашей, честный и быстрый суд — системе подкупов и волоките, здоровую армию — революционному сброду и т. д. Достаточно вспомнить тот поворот в эпоху первой французской революции, который стоил жизни Робеспьеру и Бабёфу, а также отношение Тьера к парижской Коммуне (1871), для того чтобы понять эту неизбежную грань консервативного республиканства, которую я имею в виду.

Именно в этом смысле и с этими пояснениями следует принять то последнее различие, о коем я

упомянул : преимущественный культ традиции и консерватизм монархического правосознания и преимущественный культ новаторства и радикализм республиканского правосознания.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

- 1) Фюстель де Куланж, « Древняя гражданская община », 239.
- 2) См. об этом у Ранке, у Шерюэля, у Гальярдена, Клемана и других историков.
- 3) См. у Шерюэля и Деппинга.
- 4) См. « Герои и героическое в истории ».
- 5) « Политика », I.
- 6) « Герои и героическое в истории », рус. пер., 37, 39, 278, 279, 280, 283.
- 7) См. у В.И. Герье, « Республика или монархия », 52.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Основные предпочтения — 3

1

Монархическое правосознание, религиозно укорененное и художественно олицетворяющее государственную власть, стряхнувшееся на началах семьи, ранга и традиции, естественно усваивает себе в отношении к главе государства настроение *доверия*. Монархист доверяет своему государю, причем он нередко не может даже выговорить, на основании чего он питает это доверие и в чем именно он ему верит. Одно только не подлежит сомнению, а именно: там, где это доверие колеблется, там слабеют незримые, но самые прочные нити, скрепляющие монархическое государство; и обратно: где доверие к государю прочно, там монархия может цвести и вести народ.

Понятно, что это доверие имеет свой глубочайший корень в *вере* и *религии*: народу необходимо знать, что его государь ставит себя перед лицом единого и общего Бога, в Него верует, Ему внешне, связует себя Его заповедями и служит Ему.

Вот почему в истории замечается такое упорное стремление народа к *государю единой веры*. Напрасно монархи пытались подменить эту проблему, требуя от народа религиозного повиновения им самим (*cujus regio, ejus religio*). Дело в том, чтобы народ доверял своему государю, а не в том, чтобы государь вымогал у народа признание его веры. Вера вообще не вымогается; и монарх, пытающийся осуществить это, колеблет самые глубокие основы своего строя. История Византии, Англии, Франции, Испании, Германии, Нидерландов недвусмысленно удостоверяет нас в том, что государь, навязывающий свою веру народу, возлагает на него антирелигиозное испытание, расщепляет его правосознание и колеблет его доверие. Так было при императорах иконоборцах и при Юлиане Отступнике; так было при Филиппе II в Испании; так было в борьбе англичан и с монархами-католиками, и с монархами-протестантами; так было и при отмене Нантского Эдикта Людовиком XIV. Народ, покорно приемлющий религию своего монарха, свидетельствует о несостоятельности и несамостоятельности своего религиозного чувства; народ, отказывающий своему монарху в повиновении, перестает доверять ему. Поэтому не народ должен быть «*единославен*» со своим государем, а государь имеет основание принять трон только в той стране, где он будет «*единославен*» со своим народом, обеспечивая всем своим «*инославным*» подданным свободу исповедания.

История Теодориха Великого (454-526), короля остготов в Риме, ревностного арианина, разошедшегося со своими подданными, тянувшими к

соединению с православной Византией, обнаруживает с особенной наглядностью опасность разномыслия. Тогда в партию православия вошло духовенство, многие знатные римляне и даже ближайшие советники Теодориха. Узнав об этих тайных сношениях с Византией, Теодорих пришел в страшное негодование и не пощадил лучших друзей своих; Боэций и Симмах, философы и ораторы, были казнены; но и самое остготское королевство не просуществовало после этого и 30 лет. Инославие лишило государя лояльности его подданных, а прекрасный государь, не сумевший дать религиозную опору правосознанию своих подданных, оказался не на высоте.

Гораздо легче было маневрировать Наполеону Бонапарту, который вообще вряд ли исповедовал какую-нибудь религию. Известно его признание : « Это я закончил войну в Вандее тем, что стал католиком, а сделавшись мусульманином я водворился в Египте, а умы в Италии я привлек тем, что стал ультрамонтаном. Если бы я правил еврейским народом, я бы восстановил храм Соломона » 1).

Понятно, почему религиозно-исповедное единославие драгоценно в монархии. Вера есть зрелое проявление *инстинктивной духовности* человека и в то же время выражение его *жизненной цельности*, включающей в себя и волю, и чувство, и мысль, и воображение, и деятельность. Быть одной веры с кем-нибудь, значит иметь *религиозный акт* однородного строения, стоять перед лицом единого и общего религиозного *Предмета* и дорожить однородными *содержаниями* и *состояниями* в творче-

ской жизни. Нет большей близости, чем та, которая возникает из совместной и искренней молитвы, восходящей к единому Господу; и нет ничего важнее для устроения монархии, как уверенность верующего народа в подлинной вере своего Государя. Если народ знает, что его Государь имеет такой же акт веры, что он живет тем же актом совести и осуществляет сходный акт правосознания, то доверие его к Государю может считаться обеспеченным.

Вот почему московские послы, переговариваясь с поляками о призвании королевича Владислава на московский престол, говорили им: «никак не может статься, что государю быть одной веры, а подданным другой, и сами вы не терпите, чтобы короли ваши были другой веры» 2). Опыт с Дмитрием Самозванцем явно подтверждал эту точку зрения. Русские основные законы прямо требуют православного исповедания от членов династии, особенно же от кандидатов на престол, и от их матерей 3).

2

Доверие монархиста к своему Государю состоит в том, что подданный твердо и цельно полагается на его *намерения* и на его *способности*. Он верит в то, что монарх верен своему государству и своему народу; что он искренне и целостно желает для него добра, силы и расцвета; что он справедлив и хочет справедливости для всех; что он бескорыстен и требует бескорыстного служения

от других. Вне этого монархист не представляет себе царя; не видит и не чувствует царской власти. Но это доверие оказывается особенно плодотворным тогда, когда оно распространяется не только на *намерения* монарха, но и на его *способности*. Подданные должны воспринимать не только *направление, искренность и преданность* своего Государя, но и его *энергию, его организационный дар, его дальновзоркость* и его *верное историческое разумение народных нужд*. Они должны быть уверены в том, что он не только *желает* блага, но и *может*, и умеет осуществлять его. Тогда доверие к нему оказывается на возможной жизненной высоте и приносит богатые плоды.

Всё это обычно *подразумевается* и редко выговаривается, или даже совсем умалчивается. Но драгоценность и важность этого доверия сам монарх должен разуметь, как никто другой : он должен заботиться о поддержании и укреплении его; он должен проверять и удостоверяться в том, что оно живет и не увядает; он должен видеть в нем главную силу своего правления, главную скрепу своего режима; он должен *уметь вызывать в народе доверие*. Это доверие совсем не должно выражаться в том, что народ отвертывается от общественных и политических задач, сваливает их бремя на своего государя, а сам предаётся пассивному безразличию. Напротив : доверие открывает сердца подданных и *вызывает их активность и их инициативу* в содействии монарху. Оно внушает подданным непоколебимую уверенность в том, что в государстве есть единая, правая и справедливая верховная воля, у которой можно найти всякую

правду и оборону; — что есть *куда* обратиться, есть *к кому* воззвать; — что государство не формальная организация и не слепой механизм, ибо за всем этим и *выше* всего этого имеется благая и верная воля, способная совестно оценивать вещи и дела, и по правде решать споры и несогласия. Доверие к государю есть необходимое и драгоценное настроение, которого и государь и сам народ должны требовать от всего множества граждан; ибо монархия, как и всякий другой политический режим, живет и творит именно из душевно-духовного настроения, владеющего народом.

Понятно, что это доверие к государю приобретает особенное значение тогда, когда в страну приглашается новая династия, или тогда, когда дело идет о восстановлении на троне династии исторически-наследственной, но утратившей трон, или же когда в стране подымается республиканское движение. Водворение новой, может быть чужестранной, династии всегда бывает критическим временем в жизни народа. Целый ряд роковых вопросов возникает в народном самочувствии: «С нами ли он? Наш ли он? Разумеет ли он наши опасности и нужды? Будет ли он нам верен?» И еще глубже: «Приемлет ли его сердце наши национальные святыни? Дороги ли ему наши национальные верования и наши обычаи? Захочет ли он, сумеет ли он блюсти их?»... В этом случае (например, водворение в Швеции династии Бернадотов или в Болгарии Баттенбергской династии) всё стоит под вопросом и очень многое зависит от нового государя. Иначе ставится вопрос, когда дело идет о реставрации прежней династии (на-

пример, возвращение Бурбонов во Франции). Реставрация династии пробуждает в душе народа чуть ли не всё государственное прошлое, пережитое под прежним царским родом: все времена славы и крушения, все благодеяния и все ошибки монархов, всё доверие и всё недоверие минувших веков, все ликования и все разочарования совместного бытия и строительства... В такие эпохи, когда прошедшее и обременяет и облегчает новое — духовный и политический такт возвращающегося монарха приобретает особое значение: от его поведения зависит быть носителем и возродителем прошлой славы, былых благодеяний и ликований — или обратно... Ибо он призван не столько являть новое, сколько воспринять и возродить старые традиции, из которых может уже начаться новый строй и новая слава. — Может быть, положение монарха оказывается наиболее трудным тогда, когда в стране только еще поднимается республиканское движение. Обычно это бывает связано с образованием кадра честолюбивых политиков, уже отвернувшихся от монархии вообще и от правящего государя в особенности, и прямо заинтересованных в опорочении и оклеветании монарха и монархии. Этот кадр считает необходимым критиковать и отвергать всё, исходящее от монархии как таковой, даже самые верные и спасительные мероприятия, и может быть эти последние реформы в особенности, ибо их удача могла бы реабилитировать и укрепить монархический режим. Тогда оказывается, что в стране имеется *нелояльное общественное мнение*, которое пропагандирует (то явно, то тайно) идею *обреченности*

монархии, идею *личной несостоятельности* правящего монарха, идею *невозможности прогресса* в стране при данном режиме; публицисты, ораторы, шептуны и клеветники сеют безнадежность, ведут пораженческую линию во время войны, обвиняют во всем правительство, клеймят правительственную строгость как «террор», а мягкость как нераспорядительность или даже тайную злонамеренность; при малейшем попущении они начинают готовить революцию и заранее смыкать республиканские ряды. Из такого положения дел здоровый исход может быть найден только волевым государем-реформатором, монархом, одаренным дальнорукостью и гражданским мужеством, умеющим морально и государственно импонировать, и выносившим определенный и жизненно-верный план преобразований.

Вот почему основное задание республиканцев в пределах монархии состоит прежде всего в том, чтобы подорвать доверие к монарху — доверие к его намерениям и доверие к его личным способностям. Самая идея «доверия к главе государства» кажется республиканцам вообще неуместной, противоестественной и, может быть, даже опасной. Республика есть по существу своему такой политический строй, при котором глава государства или совсем отсутствует (как в современной Швейцарии) или же обставляется всевозможными гарантиями недоверия. Из двух возможностей — персонифицировать государственную власть, вознести соответствующую персону в полномочиях и религиозно связать ее величайшими обязанностями; или же отказаться от этого личного центра,

политически разгрузить это « место » и заменить царя *чиновником*, служащим по избранию, срочным и ответственным, с урезанными правами, который свиду удовлетворяет элементарным требованиям порядочности и старается руководиться доступными ему соображениями пользы, — республиканское правосознание решительно выбирает второй путь и совсем не находит в себе ни сочувствия, ни даже органа для понимания того, что именно происходит в монархическом правосознании. Глава государства должен быть обставлен формальными гарантиями, направленными против его свободного разума и политического творчества; минимум таких гарантий составляют : присяга данной конституции (чтобы « он » не вздумал совершенствовать ее или приспособлять к жизни !), ограничение законодательного полномочия, невозможность совершить какой-нибудь неконтрассигнированный акт, обязанность утвердить законопроект, одобренный палатами и т. д.

Вот почему президент республики *избирается*, а система и процедура избрания нередко обставляется так, что кандидат остро испытывает свою *зависимость* от партий и от массы избирателей. Предвыборная агитация, в которой он так или иначе принимает участие, ставит его нередко (например в Северо-Американских Соединенных Штатах) в положение *искателя*, массового « угодника » и демагога, речам которого внимают праздные и жадные толпы народа, могущие выразить ему неодобрение и несочувствие в самых грубых и унижительных формах (например, в виде забрасывания будущего главы государства тухлыми

яйцами или томатами). Кандидат старается угодить толпе, — то пожиманием рук, то показыванием своей жены, то политическими и хозяйственными обещаниями, то бесконечными но « очаровательными » улыбками. Надо угодить партиям, обеспечить себе поддержку мировой закулисы, заинтересовать посулами народные массы — и ждать неверного, часто случайного большинства или меньшинства голосов. Президент строго ограничен в своих полномочиях и возможностях (даже тогда, когда власть его, как в Соединенных Штатах, весьма обширна) : он как бы « заперт в клетку » неполноправия и ограничения. Французский президент может быть сверх того « обвинен » палатой депутатов и тогда он подлежит суду сената 4). И даже конституция Соединенных Штатов допускает возможность того, что президент республики будет « смещен » 5). Есть и такие республиканские конституции, которые не допускают переизбрания президента 6).

Поэтому можно сказать : там, где недоверие к главе государства выражается в системе ограничивающих и обезличивающих его « гарантий » против него самого — там имеется налицо республика, хотя бы глава государства всё еще назывался королем (такова, например, была французская конституция 1791 г., никогда не осуществленная в жизни). Республика строится на принципиальном недоверии к главе государства, объективированном в виде системы учреждений. Понятно, что в душе республиканца это недоверие принимает не только личный, но и принципиальный характер, а в критические моменты превра-

щается в пафос, ибо в этих « гарантиях » и ограничениях республиканское правосознание видит оплот и защиту для своих высших идей — свободы от тирании и всеобщего равенства. На самом деле эти гарантии имеют, конечно, условное и формальное значение. Наивен и несведущ был бы тот республиканец, который вообразил бы, что эти гарантии делают невозможным бонапартизм, цезаризм, диктатуру, тоталитаризм, переворот или реставрацию. Достаточно вспомнить историю республиканского Рима, завершение французских революций 1789 и 1848 годов, или распространение диктатуры в республиканской Европе 1920-х и 1930-х годов (Венгрия, Италия, Германия, Австрия, Испания, Польша, Латвия, Эстония, Литва). Единственно, что эти формальные гарантии обеспечивают, это то, что самая сильная и даровитая, но *лояльная* личность, заняв пост президента, не сможет проявить свой политический талант и будет держаться, как слабая и бездарная безличность. Но нелояльный властолюбец всегда сумеет вовремя « перейти Рубикон » и поставить республиканцев перед совершившимся фактом.

Итак, опасность монархического правосознания в том, что оно будет принципиально и безоглядно доверять притязательному или прямо недостойному монарху, который и обрушит на страну все бедствия произвола, террора и разорения (Нерон, Андроник Комнин, Иоанн Грозный, Людовик XIV). Опасность же республиканского правосознания в том, что оно совсем разучится доверять главе государства и не сможет поддержать его даже тогда, когда это окажется необходимым для спасения

страны (положение адмирала Колчака, генерала Врангеля в гражданской войне 1918-1920 года, маршала Петена во время второй мировой войны). Однако монархическое правосознание, рискуя своим доверием, всё же *строит* государственную власть и пафос его имеет политически-положительное значение. Тогда как республиканское правосознание, не желая попадать в «глупое» положение «доверчивого простака» и считая всякое «излишнее» повиновение «унизительным», пытается строить государственную власть на стихии принципиального недоверия; пафос его оказывается политически-отрицательным и такая установка правосознания может потребовать от народа слишком многих жертв.

3

С доверием к государю в монархическом правосознании теснейшим образом связаны два основные чувства — *любви и верности*.

Установим прежде всего, что доверие — *невьнуди.мо*. Угрожая неприятными последствиями и приводя их к осуществлению, стесняя, наказывая и казня людей, можно, конечно, побудить их к известному внешне-лояльному образу действия: они будут умалчивать о своих мнениях и настроениях, что-то во вне делать и чего-то не делать. Но никакими подобными мерами нельзя вынудить у людей душевно-духовное положительное отношение к государственной власти и к ее главе. Доверие *вырастает* и *крепнет внутренне* и *свободно*. Оно предполагает живое и искреннее *уважение*

к государю и слагается в настоящую любовь к нему. Выражением этой любви должна быть монархическая *присяга* и соответствующая ей *верность* государю.

Доверять человеку значит верить в его сердечное благородство и существенную качественность его воли; и, соответственно этому, ждать от него доброты и благих дел. И вот, человеку свойственно включать таких людей в свое «сердце», т. е. связывать с ними огонь своего чувства, — оценивающего, приемлющего, надеющегося и благодарного. Человеку со здоровым, неизвращенным чувствилищем свойственно любить того, кого он считает хорошим и добрым. В отношении к монарху это чувство углубляется на путях религиозного «единославия» и молитвы; оно приобретает некую органическую естественность от вовлечения чувств семейственных и сыновне-отцовских; оно приобретает оттенок почтения и благоговения от подобающего чувства ранга; оно укрепляется от дыхания священной традиции; и таким образом вызывает в душах ту драгоценную «*идеализацию*», без которой никакой авторитет не бывает сильным и ведущим.

Когда мы говорим об «идеализации», то мы должны различать — идеализацию наивную, слепую, необоснованную, вводящую в заблуждение и населяющую жизнь обманчивыми и разочаровывающими призраками, и другую идеализацию, *духовно-зрячую, обоснованную, творческую, волевою*, позволяющую нам строить и совершенствовать жизнь. В первом случае человек чувствует и действует, как влюбленное дитя, согласно правилу

« по милу хорош » : то, что ему сослепу приглянется, он возводит в « перл создания » и прилепляется к нему душою и сердцем. Говоря словами мудрого поэта :

« То лишь обман неопытного взора,
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит, лаская без разбора
Всё, что к нему случайно подойдет ».

(Граф А.К. Толстой)

Такая идеализация всегда заканчивается разочарованием, унынием и пессимизмом.

Совсем иное дело *духовная, творческая идеализация*. Она исходит не от того, что субъективно нравится, но от того, что *на самом деле хорошио* (« по хорошу мил »). *Сущее качество* другого человека приемлется духом и сердцем и становится живым и подлинным основанием отношения к нему. Это отношение имеет характер *волевой и творческий* : надо сделать всё возможное для того, чтобы это сущее качество окрепло, стало цельным, прочным, верно действующим в жизни и ведущим других. Это отношение есть *любовь, зрячая, духовная, строящая и возносящая*.

Именно такова любовь, проявляющаяся в монархическом правосознании. Это есть любовь идеализирующая, т. е. созерцающая облик идеального правителя и делающая всё возможное для осуществления этого идеала в лице данного государя. Она видит духовным оком тот « *poimen impregatoris* », о котором повествует нам римская история, преклоняется перед ним и служит ему с тем, чтобы помочь ему овладеть *всею личностью*

монарха и осуществить в нем идеал правителя. Именно в этом состоит «идеализация», осуществляемая монархическим правосознанием: она связывает дух монархиста с духом монарха живою, творческою, художественно-таинственною связью, которая и составляет главную скрепу монархического строя.

Монархия держится любовью подданных к монарху и любовью государя к своим подданным. В душе монархиста живет особенное отношение к государю, а в душе у государя живет особенное отношение к его подданным. *Есть* оно, это отношение, — и настоящая монархия (не по расчету, не из страха, не по инерции!) живет и цветет, государство крепнет... Люди счастливы, что у них есть царь, а государь ведет свой народ на достойных путях к благоденствию... *Нет* этого отношения — и монархия превращается в пустую видимость, в иллюзию, в какое-то тягостное и опасное всеобщее недоразумение. Что бы ни гласила писаная конституция, какие бы внешние поступки люди ни совершали, — всё начинает идти криво, всё становится двусмысленно и недостоверно; начинается неискренность, скрытый протест, разлад, недовольство, неудачи; эти неудачи приписываются монархическому строю, в них обвиняют государя; протесты вырываются наружу, начинается оппозиционное и, далее, революционное движение. Люди думают: вот монархия и в ней всё идет криво и вредно; значит, монархия есть плохой государственный строй; и не понимают, что *дух отлетел* и что от монархии осталась одна внешняя видимость, пустая оболочка... *Главного* не стало.

Глубокие родники иссякли. Не стало некоей таинственной силы, животворящей и драгоценной. Исчезло то внутреннее отношение между государем и народом, без которого ни одна монархия не может быть национально-плодотворной. Не трудно понять, в чем состоит это отношение.

Свет и цвет мы видим глазом, ибо глаз есть *верный орган* для цвета и света. Звук, пение, музыку мы слышим ухом; и не дано нам слышать звук глазом или воспринимать свет ухом. И так обстоит во всем, со всеми предметами; ибо каждый из них требует особого органа и соответствующей этому органу «функции» или «акта». Только воображением чистого, идеального пространства можно постигать геометрию, воображая-созерцая ее фигуры и формы. Только чистою мыслью можно постигнуть логику, ее законы и доказательства. И вот, подобно этому, великие духовные Предметы тоже нуждаются как бы в особом органе, но не внешнем, не телесном, а внутреннем, т. е. в *особых состояниях, восприятиях и усилиях души*. Нет этих восприятий и состояний — и Предмет остается недоступным, а душа остается безразличною для него и мертвою. Какую же душевно-духовною силою воспринимается монарх? Какую силою должна связаться с ним душа человека для того, чтобы возникла и утвердилась *тайна монархии*? Чтобы возникла не мнимая, не кажущаяся монархия, а подлинная, жизненная, могучая и священная?

Чтобы *иметь* Государя, его надо *любить*. Кто не любит своего Государя, тот душевно и духовно теряет его, отвертывается от него, жизненно отры-

вается от него глубиною своего правосознания, разрушает свою таинственную, творческую, государственную связь с ним. По закону он остается подчиненным монарху, он по-прежнему обязан *de jure* повиноваться ему; но *главное* исчезает. Это будет уже иное повиновение: формальное, официальное, показное, непрочное; — не «за совесть», а «за страх». С виду всё остается по обычному: и монарх есть, и подданный есть. А на самом деле подданный видит в монархе не то полновластного чиновника или диктатора, не то деспота, насильника, тирана; а монарх имеет в своем подданном не то безразличного обывателя, не то тайного врага, — недоброжелательного критика, притворщика, полупокорного протестанта; и, строго говоря, — не свободного гражданина, а лукавого и неверного раба.

Иметь Государя возможно любовью, сердцем, чувством. Кто любит своего Государя, тот имеет его действительно, по-настоящему; и тем строит свое государство. Кто не любит его, тот всю жизнь будет притворяться перед собою и перед людьми, будто он лоялен; но иметь Государя он не будет. Любить же своего Государя — значит чувствовать в нем *благую, добрую силу*, которая искренне хочет своему народу добра и живет только ради этого добра и этого служения. И оно так и есть на самом деле. И помогать ему в этом посильно и даже сверхсильно, всемерно и повсюдно — есть сущее и пожизненное призвание всякого подданного...

Так это испытывает монархическое правосознание. Этим оно осуществляет в государстве акт

величайшей важности : оно вносит в государственное служение и в политическое строительство начало *чувства*, искренней, благородной, активной любви, — любви к *монарху*, которая неразрывно сплетается и срастается с любовью к своему *народу* и *отечеству*. Самый монархический строй требует от гражданина не только законопослушания, но участия чувства и сердца. Самое бытие Государя вовлекает в государственное строительство любовь человека со всеми ее огнями, взлетами, подъемами и напряжениями. «Формальное» отходит на задний план; направляющей и решающей становится *содержательная, совестно-религиозная глубина души*. Человек перестает числиться отвлеченным «субъектом права», гражданственной единицей, участником политической массы, но становится живым и цельным *человеком* в полном смысле этого слова. Он вовлекается в государственное строительство *целиком* и чувство любви, которым загорелось его сердце, приводит всю его душу в *движение по-новому* : по-новому живет его чувство ответственности, по-новому ставятся для него вопросы *верности* и *чести*; он иначе воспринимает свой *долг* и свою службу; он иначе созерцает религиозное призвание своего народа и органическое единство своей страны. Его правосознание не есть только функция личного инстинкта, воли и мысли; оно сверх того верит, любит и созерцает. Именно поэтому здоровый монархический строй являет те черты теплоты, интимности и преданности, которые нередко порождают наплывы умиления и взрывы восторга.

В особенности характерна для монархического

правосознания та *верность* Государю, которая должна сливаться с верностью народу и государству. Монархическая верность есть такое состояние души и такой образ действия, при котором человек соединяет свою волю с волею своего Государя, его достоинство со своим достоинством, его судьбу со своею судьбою. Верность монархиста есть прямое последствие его доверия к монарху и прямое проявление его любви к Государю. Он верен потому, что доверяет; и это выражается уже в том, что как только он перестает доверять, так приходит в колебание и его верность. Доверяя, он как бы говорит своему Государю: «верю, что Ты еси верный орган нашей общей родины и нашего народа; — что Ты утопил все Твои личные интересы в едином интересе нашего общего отечества, что Ты верен ему; — что Ты беззаветно служишь не себе, а ему; — что Ты ищешь для всех Твоих подданных, а моих братьев, блага и справедливости; — что Ты Богом и через Бога соединен с нашею родиною и со всеми нами; — и потому я, служа Тебе, служу моей родине, и притом наилучшим образом, и верность моя моему народу и моей родине только и может заставить меня быть верным Тебе. А потому приемлю Твое государственное изволение как связующее меня, Твой путь как мой путь и Твою судьбу как мою судьбу »...

Естественно, что в *республиканском правосознании* всё обстоит иначе. Оно сохраняет за собою « драгоценное » для него право не связывать себя с персоною правителя. Сегодня он избранный « глава государства », а завтра случится с ним какое-

нибудь неприятное происшествие и его «приберут» ввиду «несоответствия». Характерный случай имел место во Франции в XX веке, когда президент республики в одном ночном одеянии вывалился из вагона и сел на кучу песка; падение было очень удачно, он не был ни ранен, ни ушиблен; но весь контекст происшествия был настолько скандально-комичен, что оставаться в звании президента ему было неудобно; и его «убрали».

При таком трактовании вопроса говорить о «верности» граждан президенту республики было бы совершенно неподобающе. И в самом деле, республиканское правосознание не усмотрело бы в такой верности ничего кроме глупости, комизма и, даже более того — нелояльности конституционным законам. Тому чиновнику, который случайным большинством (иногда купленных и проданных, иногда закулисно навязанных) голосов окажется избранным для уравнивания государственной машины и который может быть завтра привлечен к ответственности, или «без шума» убран, или просто забаллотирован — ни один гражданин не может быть повинен никаким особым доверием, да еще целостным и религиозно обоснованным, тем более никакою «верностью». Напротив, республиканец принципиально уполномочен и даже призван сохранять полную независимость своего воления и своей судьбы от своего эфемерного президента; он был бы прямо смешон, как жертва комического недоразумения, если бы он начал из чувства преданности и верности всю жизнь голосовать за одного и того же президента, если бы он решил служить ему лично, жить для

него или готовился умереть за него (например, Гарри Трумэна). Мало того : гражданин республики имеет все основания « присматривать » за своим президентом и следить за его лояльностью; а на следующих выборах он может почувствовать себя обязанным выступить с обличениями и разоблачениями. Он может даже восхотеть сам стать президентом и затратить многие миллионы на пропаганду своей собственной кандидатуры. Республиканец всегда может высказать своему президенту классическое предложение : « ôte-toi que je m'y mette »... И лояльность его нисколько не будет нарушена этим конституционно-разрешенным « покушением ».

Напротив, для *монархического правосознания* верность Государю есть существенный признак. В Средние века монархи так и называли своих подданных « omnes fideles nostri ». Французский язык пользуется в этом случае еще со Средних веков тем же самым словом « la foi » для обозначения « веры », « доверия » и « верности ». Эта « вера-верность » подобна природной связи между отцом и сыном : здесь решает природа, естество, рождение; подданные называются « les natifs », « les originaires », а их отношение к монарху обозначается латинским словом « naturalitas », которое на протяжении всех Средних веков обозначает « la fidélité, due au roi ou au légitime seigneur » 7).

В русском языке « подданство » и « верность » сливаются в единое слово « верноподданный ». Эта связь между подданным и Государем закреплялась присягой, при которой « князю целовали крест » и которую выражали словами « присягая,

государям души свои дали» 8). Еще в старых договорах, заключавшихся на Руси между народом и князем, нередко помещалось условие — не разлучаться с князем ни в каком случае, но умереть с ним вместе (Сергеевич). Такая безусловная связь, — связь личной судьбы и личной жизни, — наблюдается везде на протяжении человеческой истории: воину почетно умереть за своего Государя; но это столь же почетно и для гражданина («Жизнь за Царя»); и самый бой переживается как бой, происходящий за монарха, по его повелению и во имя его дела. Замечательно, что о такой безусловной верности Государю древняя Русь, избиравшая князей на вече, знает мало: бывали случаи, когда князей удаляли, причем иногда громили их двор и разграбляли их имущество, а бывали и случаи князеубиения 9).

Прескотт в «Завоевании Перу» рассказывает, как во время предательского нападения Пизарро с его испанцами на перуанского монарха (Инку), верные дворяне густою толпою окружили своего Государя, хватали лошадей за ноги и мужественно умирали под копытами коней и мечами всадников; место каждого убитого занимала тотчас новая жертва...

Надо признать, что эта традиция монархического правосознания, — идти на смерть за обороняемое сокровище, — присуща всякой честной армии, как таковой; и монархическое правосознание распространяет ее и на монарха, утверждая свою верность не только на протяжении жизни, но и в смерти. Именно это роднит каждую доблестную армию с монархическим правосознанием: солдат

обороняет своего офицера и генерала так, как верный монархист своего Государя. Этим и объясняется то обстоятельство, что переход от республики к монархии совершался в истории не раз именно через посредство верной и победоносной армии. От верности до любви и от воинской персонификации до монархического олицетворения остается нередко всего один шаг; и фанатические республиканцы не без основания следят за своей армией и за своими генералами, опасаясь измены.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ПЯТОЙ

- 1) См. у Vandal, « L'avènement de Bonaparte », II, 462.
- 2) С. Соловьев, VIII, 359.
- 3) Свод Законов, 1904, том I, раздел 2, 141.
- 4) Закон 1875 г., 16 июля, § 12.
- 5) Закон 1787 г., 17 сентября, гл. II, § 6.
- 6) Бразилия, ст. 43, гл. 1 раздела II.
- 7) Flach, *op. cit.*, III, 59, 64.
- 8) Соловьев, « История России », VIII, 15.
- 9) См. Сергеевич, « Русские юридические древности », II, кн. 3 и 4.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Основные предпочтения — 4

1

Если мы сопоставим всё, доселе добытое нами, то мы увидим, что основные предпочтения монархиста вовлекают в монархическое служение *весь его внутренний мир*: они требуют от него участия — и веры, и художественного олицетворения, и доверия, и любви, и всей его иррациональной духовности, включая в особенности его живое правосознание, его чувство верного ранга и его инстинктивно-семейственные и родовые побуждения. Настоящая монархия осуществима только в порядке *внутреннего, душевно-духовного делания*. Она вносит в политику начало *интимности, преданности, теплоты и сердечного пафоса*. Это не значит, что всякий монархический строй соответствует этим, свиду «идеально-патетическим» требованиям и пребывает на высоком уровне нравственно-религиозной духовности. Нет, история знает колеблющиеся монархии, вырождающиеся монархии и монархии, стоящие накануне крушения. Но эти колебания, это разложение и

крушение происходят именно потому, что монархический строй теряет свои интимные корни в человеческих душах и «выветривает» свою иррациональную духовность. *Монархия не сводима к внешней форме наследственного единовластия или к писаной монархической конституции; формализация губит ее; она расцветает, укрепляется и начинает государственно и культурно плодоносить только тогда, когда имеет живые корни в человеческих душах.*

Но именно это *интимное укоренение в личной духовности* — и есть то, без чего думает обойтись республиканское правосознание. Республиканец отнюдь не считает ни необходимым, ни существенным внесение религиозной веры в строение своей государственности; напротив, ему представляется важным и драгоценным «освободить» личную душу к маловерию, неверию и безбожию: свобода веровать и не верить драгоценна ему; но участие веры в правосознании, а следовательно и в гражданско-политической жизни — кажется ему совершенно ненужным; это и выражается в требовании «отделить церковь от государства» (т.е. в требовании *секуляризации и формализации правосознания*).

Далее, республиканец принципиально не считает возможным и нужным обуславливать политическую деятельность какими бы то ни было требованиями *духовности* или тем более *иррационально-интимной* духовности. Исторически данный человек, как он есть и каков бы он ни был, кажется ему совершенно достаточным для политического правомочия (исключения делаются

только для слишком уже маловозрастных, для слишком уже сумасшедших и уголовно-осужденных индивидуумов). Республиканец настаивает на *внешнем и формальном* понимании полноправия. Все «качества», необходимые для государственного строительства, предполагаются у людей как наличные, до тех пор пока не доказана прямая «imbecillitas» или «malevolentia» субъекта, причем и самое зложелательство его (malevolentia) должно быть квалифицированным, законно предусмотренным и уголовно-осужденным. Отсюда неизбежное *снижение гражданственного уровня* в республиках, где почти всякий внешний и внутренний «ценз» подвергается поношению и извержению. Внутренний мир человека «освобождается» к личному произволению; *внешние признаки «человечности»* считаются принципиально достаточными для государственного строительства. От гражданина никаких духовных «качеств» не требуется; никакие внутренние «напряжения», усилия, заботы, никакое воспитание правосознания, никакой внутренний «подход» к государству и к политике не считается «верным» или «надлежащим». На то человеку дается республиканская «свобода». Это включает в состав полноправных и активных граждан обширные кадры людей, принадлежащих к порочным и позорным профессиям: ростовщиков, контрабандистов, шулеров, содержателей домов терпимости, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого, сутенеров, торговцев живым товаром и других... согласно правилу «не пойман — не вор»...

Эта «свобода» в особенности относится к *чувству* со всей его интимностью и теплотою, к тому, что может быть обозначено как «жизнь сердца». Республиканец признает за человеком право отстаивать свой интерес, но не признает за ним призвания — *любить* свою страну, ее народ, ее армию и «чиновников» своего государства, например, президента, главнокомандующего и т. д. Такая «любовь» сделала бы республиканца просто смешным в его собственных глазах и в глазах его сограждан; и когда мы видим проявление таких чувств в республике (например, у бонапартистов в 1848-1851 году по отношению к Наполеону III; или у немцев по отношению к Адольфу Гитлеру; или в Соединенных Штатах по отношению к Вашингтону или к Макартуру), то мы имеем полное основание говорить о том, что начинается перерождение республиканского начала...

2

Замечательно, что с этим связано начало *достоинства и чести*.

Чувство собственного достоинства, — если только не разуместь под ним банальное самолюбие или пошрое самомнение, — требует от человека *духовной жизни и духовной культуры*. Поэтому оно и дается не всякому, а лишь тому, кто успел укорениться в личной духовности. Понятно, какое значение приобретает эта укорененность для *политической* жизни, которая творится именно пра-

восознанием: ибо чувство собственного духовного достоинства есть *первая и основная аксиома правосознания* 1). Это чувство не может быть внушено извне, вскормлено мнением толпы и упрочено внешними почестями. История знает множество тиранов, вознесенных на последнюю высоту внешними почестями, пресмыканием честолюбцев и рабскими унижениями толпы, — и в то же время совершенно лишенных чувства собственного достоинства, правивших посредством унижений и тем доказывавших свою собственную низость. Чувство собственного достоинства доступно только духу, выросшему в усилиях личной воли и в долгом дыхании сердца и потому недоступному никаким внешним оказательствам, ни отрицательным, ни положительным.

Уважать себя значит знать о своей силе в добре, и не сомневаться в ней, и не колебаться в ней. Эта «первая наука», по слову Пушкина — «читать самого себя», отнюдь не должна смешиваться с самомнением и со всеми иными формами само-пере-оценки. Уважение к себе как живому духу есть основное условие бытия: *акт самоутверждения*, уводящий в «сердечную глубину», к «не смертным, таинственным чувствам», которые ставят человека перед Лицом Божиим, научая его измерять себя, свою жизнь и деятельность *мерилами совершенства*. Начинается строгая внутренняя цензура, требовательная, воспитывающая человека и организующая его духовную личность. Человек требует от себя всех основных духовных качеств и постепенно приобретает облик рыцарственности. Верность этому облику и составляет

его *честь*. Блюсти свою *честь* он повинен перед Лицом Божиим, перед лицом своего Государя, перед своим народом и перед самим собою. При этом существенным является не то, что *другие* думают о нем или говорят о нем, но то, что он *есть* и чем он *остается на самом деле*. Вот основные формулы чести: «*быть, а не казаться*»; «*служить, а не прислуживаться*»; «*честь, а не почести*»; «*в правоте моя победа*». И всё это мыслится не как *внутреннее* самочувствие и *внутреннее* делание, но как закон внутренней жизни, вносимый во внешний мир, в государственное строительство и в политику.

Это заставляет нас установить и признать, что начало духовного достоинства и чести *есть основа не республиканского, а монархического строя*. Это совсем не означает, что всякий республиканец, как таковой, лишен чувства собственного достоинства и не знает, что такое *честь*; утверждать это было бы исторически несостоятельно и духовно нелепо. Казалось бы даже, что «справедливость» побуждает нас установить обратное: люди становятся республиканцами именно потому, что их «чувство собственного достоинства» отказывается мириться с беспрекословным повиновением главе государства; их «честь» требует свободного чувствования, свободного мышления и свободного жизнеустроения, а монархический строй явно лишает их всего этого. Именно поэтому республиканцы не раз выдвигали в истории, — как идейно, так и активно, — принцип «монархромахии» или царубийства: для них это

было вопросом свободы, чувства собственного достоинства и чести.

Однако мы имеем в виду не те побуждения, которые заставляют республиканцев восставать против монархического строя, а тот *жизненный уклад правосознания*, который они считают единственно-соответствующим их чести и достоинству и который они предлагают нам всем как единственный. Из двух первых и основных аксиом правосознания, — «личного достоинства» и «свободы самоопределения» 2), — республиканцы отдают решительное предпочтение второй и готовы подразумевать первую как присущую каждому человеку чуть ли не от рождения. А между тем это уместно лишь в немногих странах, где, как, например, в Финляндии, уровень личной морали настолько высок и прочен, а искушения темперамента настолько не интенсивны, что экзистенциальный минимум как бы гарантирован для первой аксиомы правосознания и начало чести и достоинства не тонет в произволениях свободы. Совсем иначе обстоит в большинстве других республик. Можно было бы сказать, что республиканцы полагают свое достоинство не в достоинстве, а в свободе, и свою честь не в чести, а в независимости. Им важно и драгоценно *чувство личной независимости*, нередко уводящее их к революционно-анархическим мечтам; что же касается личной культуры, духовного самоутверждения, самовоспитания и самоуважения, то они считают правильным и даже необходимым предоставить всё это личному усмотрению и личному самоопределению. Поэтому можно было бы сказать, что у республикан-

ца честь и достоинство обычно тонут в личной свободе, тогда как у монархиста личная свобода может утонуть в культивировании чести и достоинства. Республиканец мыслит себя и всякого гражданина вообще, как уже созревшего к личному духовному достоинству, как самостоятельного блюстителя своей чести; и всё, чего он добивается, это полная независимость в вопросах веры, мнения, суждения, совести, чести и действия. Но это и означает, что он *не* включает честь и достоинство в жизнь правосознания и в его деятельность; это ему не нужно, это его только стеснило бы, это умалило бы или нарушило бы его свободу. Вот откуда эта типичная для республиканцев готовность — добыть себе свободу на путях, не соблюдающих ни достоинство человека, ни его честь, — на путях интриги, клеветы, заговора, правонарушения, революции и террора. Республиканец сам себе блюститель и пастырь; его правосознание не имеет единого якоря, единого духовного источника, единого мерил. Все духовно-социальные удержки кажутся ему устаревшими и отпавшими, — это не более, чем *религиозные, монархические и сословно-дворянские « предрассудки »*, стесняющие жизнь и умаляющие свободу и достоинство человека. Поэтому его первая задача — разоблачить предрассудочность этих предрассудков и освободиться от них. Республиканское правосознание сознательно и намеренно отрывается от своей *иррациональной исторической и духовной почвы*, провозглашает нового, — безрелигиозного, антимонархического и антидворянского (лозунг французской револю-

ции: « les aristocrates à la lanterne ») — гражданина и пытается построить на его новом, *условном* и *релятивистическом* правосознании новую государственность. Это отнюдь не означает, что все республиканцы лишены чести и достоинства; но они понимают и то, и другое по-своему и считают эти корни гражданственного бытия делом личным, а не публичным; делом свободной морали, а не делом государственного правосознания.

3

Совсем иначе строится монархический уклад души. Он вырастает на протяжении веков из иррациональной духовности человека, — из веры, из художественного олицетворения государства и народа, из доверия к Государю и любви к нему, из верности и служения ему, а такая верность служения требует *искусства повиноваться без унижения*. Подобно тому, как нелепо было бы утверждать, будто республиканец не знает достоинства и чести, столь же нелепо было бы говорить, что монархическое правосознание не знает свободы и не ценит ее. Напротив: монархия сильна и продуктивна только там, где монархисты умеют, в самом своем повиновении Государю, *ценить свою свободу, утверждать ее и блюсти ее в жизни*. Мы знаем, конечно, что у республиканцев есть такой предрассудок, будто монархия ведет к рабству и будто лояльность монархиста сама по себе уже доказывает, что он « не созрел до понимания свободы ». На самом же деле это

обстоит совсем иначе. Ибо лояльность и дисциплина могут быть приняты *добровольно и свободно* и тогда о рабстве говорить совсем непозволительно. Мало того, верность, вырастающая из доверия и любви к Государю, есть сущее преодоление несвободы, ибо свобода вообще состоит не в ежеминутном торжестве личного произволения, а в *добровольном приятии правовых границ своей жизни*. Свободен не тот, кто, ничему и никому не подчиняясь, носится по прериям своей жизни, как сказочный всадник без головы, но тот, кто в порядке духовного «само-бытия» 3) свободно строит свое правовое подчинение добровольно признанному авторитету. Достоинство человека состоит не в том, чтобы никому и ничему не подчиняться, но в том, чтобы *добровольно подчиняться свободно признанному правовому авторитету*. И этот свободно признанный правовой авторитет воспитывает человека к *правовой* свободе и к духовной силе.

Но и этим сказано далеко не всё существенное. Дело в том, что Государь нуждается не в пассивной покорности запуганных подданных, а в творческой инициативе граждан, блюдущих свою честь и достоинство. Великие государи знали это лучше всех. Они знали, что монархия держится добровольной лояльностью, инициативным сотрудничеством граждан, несущих Государю свои лучшие советы и свои верные усилия. Настоящий монархист не тот, который ждет высочайшего приказа и запрета — и затем формально подминает жизнь под их требования; но тот, кто спрашивает себя по каждому делу и вопросу: « как

лучше?» и затем ищет и добивается во всем «государевой правды». Жизнь для него не *служба*, а *служение*; не *покорность*, а *творчество*; не погрязание в раблепном безволии, но дело *активной ответственности* перед Государем; — можно было бы сказать: *пафос монархической ответственности*.

Здесь мы касаемся одной из основных *тайн* монархического строя и уклада души. Дело в том, что *олицетворение* народа и государства персоною Государя есть процесс *художественно-религиозный*. Он не сводится к тому, что под обширные и сложные реальности, именуемые «народом» и «государством», подставляется нечто более простое и малое, а именно персона единоличного монарха. Силою любви, и притом духовно-волевой любви, а также силою воображения, и притом духовно-волевого воображения, осуществляется *художественное отождествление* верноподданного с Государем (как бы «снизу-вверх») и в то же время — *художественное отождествление* Государя с его народом (как бы «сверху-вниз»). Единение Государя и народа не есть ни отвлеченное представление, ни пустое слово, ни лицемерная игра словами, но *подлинный, государственно-творческий процесс*. Остановимся в данный момент только на первой части его.

Облик Государя, введенный в душу силою любви, воли и воображения (по древнему русскому выражению патриарха Иова, «присягая, государям души свои дали») 4), вносит в нее нечто совершенно новое, а именно помысел о *всенародной справедливости*, расширяющий *личный инте-*

рес до размера общегосударственного и углубляющий личное правосознание до царственной глубины. Художественное отождествление с обликом любимого и желанного Государя, созерцаемого в его духовно-верном, т. е. *идеальном* составе, вносит в душу гражданина нечто *подлинно-царственное*: ту заботу обо « всем народе », которою живет сам Государь; то созерцание своего государства, из его прошлого, через его настоящее, в его будущее, которое составляет самое главное дело каждого монарха; готовность стоять, бороться, а если понадобится, то и умереть за свое отечество; то повышенное чувство ответственности, которое характеризует каждого истинного государя; то чувство « служения », и притом беззаветного служения, которым держатся все монархии. И всё это есть поистине нечто *царственное*.

Пребывая в этом царственном настроении и превращая его постепенно в самое прочное и жизненное свое достояние, монархист приучается спрашивать себя перед *каждым* решением и делом, — что именно он может принять на свою ответственность перед лицом своего Государя? какой образ действия есть для него, как монархиста, наиболее достойный? как следовало бы ему поступить, если бы он сам *был монархом*? Он как бы возносится на ту духовную « башню », с которой Государь созерцает пути и судьбы своего народа. Он приучается измерять свои поступки царственными мерилami — ответственности, чести и всенародного блага. Он, так сказать, « потенцирует » свою гражданственную личность,

требуя от нее всенародности, бескорыстия, царственных целей и путей. Подобно тому, как человек, молящийся перед иконой, вчувствуется в ее благодатные образы и незаметно вводит в себя тот душевно-духовный уклад, который показан в ее чертах и настроениях, так монархист, художественно созерцающий своего Государя и посылающий ему в лучах своего доверия и своей любви свое «лучшее», утверждает свое духовное достоинство, крепит свою честь и воспитывает свое правосознание.

Эту идею, это самочувствие и соответствующее ему внутреннее делание можно найти в истории человечества в самых различных странах.

« Ошибочно думают », говорит, например, поэт Клавдиан (язычник, конец IV века по Р.Х.), « что при монархе подданные делаются рабами; никогда не пользуешься большей свободой, чем при порядочном государе... » 5). « Государь должен помнить, что римляне, которыми он повелевает, некогда повелевали вселенной »... 6). Замечательно, что во все времена и у всех народов стойкое и мужественное правдоговорение Государю считалось надлежащим и лучшим образом действия; и если иные монархи с деспотическими наклонностями не умели переносить этого (подобно Эрику XIV, Иоанну Грозному и другим), то этим они искажали и повреждали самое основное в строении монархического государства. Так, Забелин отмечает, что царь Иоанн III Московский « против себя встречу любил », а царь Василий III не выносил возражений и однажды наложил опалу на возражавшего ему боярина Ивана Берсеня :

« Поди, смерд, прочь, не надобен ты мне » 7). Невольно вспоминается позднейшая судьба князя Репнина, Митрополита Филиппа, боярина Морозова и других « стоявших и прямивших » при Иоанне IV Грозном.

Однажды королева Мария Стюарт спросила свободоречивого шотландского реформатора Джона Нокса : « Кто вы, что беретесь поучать дворян и государыню нашего королевства ? » « Сударыня », ответил Нокс, « я подданный, рожденный в том же королевстве ». « Разумный ответ ! » — замечает глубокомысленный Карлейль : « если подданный знает правду и хочет высказать ее, то конечно не положение подданного мешает ему сделать это » 8).

У С.Ф. Платонова читаем : в XVII веке московская « власть желала » в земских представителях на соборах « видеть людей, "которые б умели рассказать обиды, и насильства, разоренье и чем Московскому государству полнитца" »... 9). Русские цари того времени искали *правды* и *людей гражданского мужества*.

После посещения инкогнито английской Палаты Лордов (1697 г.) Петр Великий записал : « Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему Государю правду; вот чему надо учиться у англичан ». Он же говаривал : « Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем ». Чтобы возвысить достоинство своих подданных, он запретил бить солдат, писаться в обращении к царю уничижительными именами, падать перед царем на колени и снимать

зимою шапки перед дворцом: «К чему уничижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — таков почет, подобающий царю»... «Вот», — говаривал он князю Якову Долгорукому, — «ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь, и правду говоришь, за что я внутренно тебе благодарен» (1717 г.)...

Граф Ласказ, секретарь Наполеона, сообщает, что Наполеон умел терпеливо выслушивать возражения; но одному упорному возражателю он под конец сказал, указывая днем в небесную даль: «*Voyez-vous cette étoile?*» — «*Non*». — «*Eh bien, moi, je la vois et très distinctement. Sur ce, mon cher, bon jour! Retournez à vos affaires et surtout fiez-vous-en à ceux qui voient un peu plus loin que vous*»... 10). («Видите ли вы эту звезду?» — «Нет». — «Ну вот, а я ее вижу очень отчетливо. А затем, мой милый, до свиданья. Возвращайтесь к вашим делам и доверяйтесь особенно тем, которые видят немного дальше, чем вы»...)

В мемуарах Витте мы находим следующий рассказ: «Граф Ламсдорф сказал мне: одно из двух — или наш Государь самодержавный или не самодержавный. Я его считаю самодержавным, а потому полагаю, что моя обязанность заключается в том, чтобы сказать Государю, что я о каждом предмете думаю, а затем, когда государь решит, я должен безусловно подчиниться и ста-

раться, чтобы решение Государя было выполнено » 11). Таким образом, « самодержавие » отнюдь не исключает мужественного правдоговoreния перед лицом монарха. Мало того : *в состав обязанностей монарха входит терпимое, милостиво-любезное и беспристрастное выслушивание правды из компетентных уст.*

Гениальный немецкий поэт-романтик Новалис (Фридрих фон Харденберг, 1772-1801) выдвинул одно из самых глубоких толкований монархии и монархического устройства. Принимая целостно и последовательно идею художественно-религиозного отождествления подданного с Государем, он выдвинул между прочим следующий тезис : « Все люди должны стать троноспособными. Король есть средство воспитания к этой далекой цели » 12). В такой формулировке этот тезис может оказаться неверным. Можно ли говорить обо всех людях, в том числе о малолетних, необразованных, глупых, бесчестных и преступных ? И далее : что означает идея всеобщей « троноспособности », когда к самой сущности монархического строя относится исключительная « троноправо-способность » одного *единого рода* (династии) ? И тем не менее Новалис выговаривает основную и глубокую тайну монархии, состоящую в том, что *облик Государя не унижает подданных, а возвышает и воспитывает их к царственному пониманию государства и его задач.* Истинный Государь воспитывает свой народ к царственному укладу души и правосознания силою одного своего бытия.

Здесь мы снова возвращаемся к идее ранга. Человек духовной высоты, ведающий свое досто-

инство и блюдущий свою честь, приемлет идею ранга легко и естественно; он не видит в этом унижения; наоборот : зная свой собственный ранг, он понимает, что его ранг измеряется и определяется объективно теми же самыми мерилками — духа, достоинства, чести и служения, — которыми он рад определять ранг других людей и которые определяют подлинный ранг его Государя.

Но это и есть именно то, чего почти не выносит республиканское правосознание. Иногда республиканцы выговаривают это прямо и откровенно. Так, однажды в одной из древнейших республик Европы мне пришлось беседовать с группой университетски образованных туземцев, причем я высказывал им свое воззрение на драгоценное значение чувства ранга. В ответ я получил ниже следующее разъяснение : « Вот это и есть то, чего мы не выносим. Мы не терпим в своей среде выдающихся людей (exzellent). Если таковой находится, то мы всегда сумеем сделать ему жизнь столь трудной и горькой, что он не будет знать, что ему делать. Но если он всё-таки, выдержав это всё, добьется чего-нибудь, тогда мы после его смерти поставим ему памятник »... Выслушав это, я записал сказанное; и записывая, невольно вспомнил слова Петра Верховенского из « Бесов » Достоевского : « ...не надо высших способностей ! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... Рабы должны быть равны... мы всякого гения потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное равенство »... 13). И, вспоминая эти пророческие слова, я думал о том,

что Верховенский и Шигалев заканчивали свою программу тоталитарным деспотизмом.

4

Итак, давно пора покончить с этим предрассудком пассивной приниженности граждан в монархическом государстве. Различие между республиканским правосознанием и монархическим правосознанием в этом вопросе следует искать не в пассивности, а в характере политической активности. Активность монархиста носит черты *центристремительности, лояльности и ответственности* перед главою государства. Активность республиканца отличается *центробежным* тяготением, *развязывает личную инициативу, стремится вмешиваться во все государственные дела* и старается *сложить с себя ответственность* перед избирателями. Всё это требует внимательного удостоверения.

Однако этот тезис отнюдь не должен быть истолкован в том смысле, будто все республиканцы «несут свое государство рбзно» и лишены всякого чувства ответственности. Достаточно назвать Перикла в Афинах, Катона Старшего в Риме, Вашингтона и всех лучших президентов в Соединенных Штатах, Лафайета во Франции и многих других героев республиканской государственности для того, чтобы раз навсегда погасить такое истолкование. Точно так же отнюдь не следует идеализировать сторонников монархического режима, что мы, к сожалению, наблюдаем у монархистов и доселе на каждом шагу. Есть

партийные монархисты, которым достаточно установить у кого-нибудь темпераментное предпочтение монархии для того, чтобы объявить его «замечательным мыслителем» или даже «богатырем духа». А между тем совершенно необходимо различать *монархистов идеи* и *монархистов карьеры*; среди последних найдется множество низких, беспринципных симулянтов и порочных льстецов наподобие Тигеллина или Шешковского. Однако верных проявлений монархического правосознания можно ожидать только от первых, тогда как вторые должны быть отнесены к самым опасным вредителям монархии. Дурные и низкие люди обретаются во всех партиях и лагерях; но мы имеем в виду не их, а верных осуществителей идеи, — монархической или республиканской.

Итак, активность идейного монархиста *центро-стремительна, лояльна* и монархически *ответственна*. Он ведает и признает, что его государство имеет персональный центр, которому он призван служить не за страх, а за совесть; этот центр един и единственен во всей стране; к нему должна быть направлена энергия всех граждан; он есть источник публичных полномочий; перед ним все отвечают за лояльность своего волеуправления, за законность своих поступков и за все последствия своей деятельности. Этот персональный центр объединяет государство и крепит его именно такой центростремительностью общих усилий. Это не значит, конечно, что монархист должен обращаться по всем делам за разрешением к монарху, или что он сам по себе ни на что решиться не может. Но это означает, что он мы-

слью и волею возводит каждый акт государственного учреждения к закону, утвержденному Государем, или к указу, им изданному; далее, — что он не мыслит никакой государственной реформы иначе, как исходящей в законном порядке от монарха; и наконец, — самое глубокое и интимное, — что он принимает самостоятельные решения и меры из той глубины правосознания, которая проверяет всё достоинством монарха, его идеальным волеуправлением и народолюбием. « Нет, так я не могу поступить, ибо этот исход набросил бы тень на моего и нашего Государя »... Или : « Только *такое* решение я мог бы защищать перед лицом Государя, как единственно достойное его и его призвания »... Или еще : « если бы я был Государем, я разрешил бы этот вопрос только *так* и именно так, как подсказывает мне *дух закона* и мое *естественное правосознание* »... Здесь центрированность, лояльность и ответственность сочетаются воедино со свободой личного правосознания, в его естественной правоте и в его монархической свободе.

То, что монархист желает осуществить в своей стране, — усовершенствования, реформы, жизненный и духовный расцвет своего народа, — он возводит к Государю с тем, чтобы желанное было принято и признано им и нашло в нем свой жизненный источник. Именно в этом заложен смысл *права петиций* и публичного (устного, печатного и парламентского) правдоговорения.

Двадцатилетний Пушкин, достаточно наслышавшийся от декабристов о революции и республике, достаточно осведомленный о « щедрой »

раздаче крестьян Екатериною и о военных поселениях Аракчеева, спрашивает как истинный и мудрый монархист :

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, *падшее по манию царя...*?

(« Деревня »)

с тем, чтобы через семнадцать лет добавить : « Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный ! » (« Капитанская дочка »). « Клянусь Вам моею честью », писал он в возражение Чаадаеву, « что я ни за что не согласился бы ни переменить родину, ни иметь другую историю, чем история наших предков, какую нам послал Господь »... Именно к этому течению лояльного монархизма принадлежали Жуковский, Гоголь, Тютчев, Достоевский, славянофилы, Милютин, все совершители « великих реформ », П.А. Столыпин и все его сторонники и сотрудники. Все они действовали словом и делом, движимые монархической центростремительностью, лояльностью и чувством ответственности перед Государем и народом.

Совсем иного, прямо обратного, добивались русские республиканцы XIX и XX века, — от Пестеля до Желябова, от народовольцев до республиканских вождей конституционно-демократической партии. Под обаянием этой идеи стояли многие из так называемых « западников », в том числе Белинский, Герцен, Чернышевский, Тургенев, Некрасов, Огарев, Салтыков-Щедрин, Михайловский и, позднее, социалисты-революционеры и социал-демократы. То, чего им недоставало, была именно национально-монархическая *центро-*

стремительность и лояльность; то, во что они не верили и чего многие и не хотели, были реформы, исходящие от трона. Отсюда бунт Декабристов; отсюда заговор Петрашевцев; отсюда все покушения на Императора Александра II, озлобленность и жестокость которых он сам не мог понять, когда после московского железнодорожного покушения со слезами на глазах спрашивал: «За что они так ненавидят меня?!» Ответ мог быть трагически-прост: за творческое оправдание русского трона перед лицом народа и истории...

Казалось бы, после великих реформ — для русской передовой интеллигенции была открыта дверь к лояльному доверию и активному самовложению в строительство России. И понятно, что необходим был срок в 25–30 лет для жизненного освоения этих реформ — на пути «малых дел» и жизненно-конкретных задач. Казалось, путь был найден: Император становится во главе реформ и проводит их в порядке утверждения мнений совещательного *меньшинства*; передовой интеллигенции остается только воспринять и претворить эти реформы в жизнь, извлекая из них всё верное и постепенно обнажая неудачное и ошибочное, обновляя и упрочивая Россию... Но именно этого-то и не хотели русские республиканцы: они предпочитали отвергнуть эти реформы целиком, работать над изоляцией Государя и над компрометированием его дела и наконец обратиться к прямому убиению его. Это неприятие благодетельных реформ политически понятно: эти реформы свидетельствовали о *жизненности русской монархии* и о ее *государственно-твор-*

ческой силе; они сближали царя с народом и укрепляли веру народа в царя. И в то же время они обличали *историческую ненужность* русского республиканства, его искусственность и слепую подражательность, его подсказанную честолюбием праздную надуманность. Если бы развитие пошло нормальным путем, то русским республиканцам оставалось бы только признать свою несостоятельность и ненужность и отойти в небытие; а русскому Государю надлежало исполнять свои дальнейшие предназначения: дать *правовое оформление* сотрудничеству монарха с государственно-зрелыми кругами народа, ввести всеобщую грамотность и, наконец, укрепить частнособственническое крестьянское хозяйство.

Ни национально-патриотической центростремительности, ни лояльности, ни ответственности у русских республиканцев не оказалось. Им надо было любой ценой оторвать трон от народа и подорвать доверие народа к трону. Гибельность и утопичность своих положительных программ они, конечно, не понимали: Декабристы не видели, что затеваемое ими безземельное освобождение крестьян наводнило бы Россию беспочвенным и безработным пролетариатом и вызвало бы новую пугачевскую «раскачку»; Петрашевцы не понимали, что фурьеризму в России решительно нечего делать; идея черного передела вызвала бы новую смуту неслыханного размера; идеализировать общину в духе социалистов-революционеров было противогосударственно, хозяйственно-слепо и безнадежно; а что мог дать России последовательный «демократизм» и «федерализм» конститу-

ционалистов-демократов, — это достаточно наглядно обнаружилось в 1917 году...

Но если оставить в стороне беспочвенность и гибельность их программ, то обнажится их основная тенденция: *подорвать доверие к Государю, изолировать его и любой ценою остановить тот поток обновления, который стал изливаться от трона.* Им надо было разочаровать и напугать Династию, чтобы она усомнилась в полезности реформ, прекратила их и укрепилась в слепом консерватизме или даже в реакционности. Им надо было изобразить дело так, будто освобождаемый и привлекаемый к трону «народ» отвечает на это ожесточением и звериною ненавистью. Им нужны были, по верному слову П.А. Столыпина, «великие потрясения»; а для этого клевета против Государя и покушения на его жизнь могли сослужить им одинаковую службу. Идея «великой России» их не привлекала: они предпочитали, совершенно так же, как и ныне (сороковые и пятидесятые годы двадцатого века), *анархическую систему малых республик*, беспомощных, зависимых и враждующих друг с другом.

Рассматривая республиканское движение в России XIX и XX века, исследователь всё время изумляется тому отсутствию чувства ответственности, которое республиканцы обнаруживают на каждом шагу. Им и в голову не приходит, что они судят о неизвестном, как о чем-то простом и ясном; — что они не знают ни веры, ни правосознания, ни хозяйства, ни истории, ни соблазнов того народа, судьбами которого они хотят распоряжаться; — что все политические суждения их

отвлеченны и схематичны, а по отношению к России беспочвенны и претенциозны; — что у них нет никакого политического *опыта*, а есть только заимствованная на Западе политическая *доктрина*. Отравленные бакунинской верой в то, что « дух разрушения есть созидательный дух », они ожидают « спасения » от исторического крушения России и воображают, что переход к демократической республике удастся русскому народу без особых затруднений 14). И нужен был трагический опыт коммунистической революции в России для того, чтобы некоторые из них (немногие) опомнились и поняли погибельную кривизну своих путей.

5

Не следует, впрочем, думать, будто недостаток центрированности, лояльности и ответственности характеризует только русских республиканцев XIX и XX века. Эта стихия республиканской центробежности, которую мы наблюдали в России после февральской революции, когда каждый уездный городишко торопился объявить себя самостоятельной республикой и, по сообщению Половцева, образовалась даже особая « Шлиссельбургская Держава », где каждая волость считала себя равносильной американскому штату, а в Шлиссельбурге должен был заседать « союзный конгресс » 15), — эта стихия соответствует, конечно, революционной эпохе и в таком виде она в обычное время в республиках не проявляется. И тем не менее она заложена в самой глубине рес-

публиканства и живет в нем постоянно, хотя и прикровенно.

Центробежность, как политическое настроение, присуща республиканцу уже в силу того, что он выше всего ценит свободу, т. е. личную нестесненность в воззрениях, убеждениях и в образе действий. Республиканец прежде всего не желает *авторитета* и исходящего от него «давления». В сущности говоря, он стремится «вобрать в себя» весь и всякий авторитет; его основное настроение можно обозначить как политический «субъективизм» или «индивидуализм», а в крайних проявлениях, как атомизм. Этот субъективизм может привести его и к признанию общественного мнения; но может и увести его в одиночество. Этот индивидуализм может привести его и к социальной программе, но при условии полной личной независимости. Именно поэтому католическая стихия и магометанская стихия, с их преклонением перед авторитетом, никогда не будут благоприятствовать республиканству, но будут тяготеть к монархии. Можно было бы сказать, что республика есть промежуточная форма или «станция» на пути от монархии к анархии. Достаточно представить себе множество республиканцев в состоянии последовательного политического субъективизма, или республиканствующую толпу, протестующую против всякого авторитета — и до анархии останется всего один шаг. Именно в связи с этим республиканцам присуща высокая оценка *малой* государственной формы и *вера в федерацию*. Республиканец — враг гетерономии; он во всем предпочитает *автономию*, к кото-

рой он слишком часто неспособен. Отсюда это обилие сект, партий и синдикатов в республиканских странах; и за всем этим живет *сокровенная мечта об анархии*. Можно было бы сказать, что *распадение* монархий редко приводит к образованию новых, малых монархий: обычно возникают малые республики. Классическим примером в истории является развитие английской империи: это есть история отпадения частей от метрополии, которая соблюдает свою монархическую форму, тогда как отпавшие в порядке центробежности части ее становятся республиками; таковы Соединенные Штаты, Ирландия, Индия и, далее, Египет, а в будущем Южная Африка, Мальта и, возможно, другие «колонии». Так, на наших глазах две большие европейские монархии, Германия и Австрия, распались после первой войны на ряд республик.

Эта республиканская центробежность как бы дремлет в государствах, идущих к распаду, таясь в форме недостаточной лояльности отдельных граждан, конфессий, городов и национальностей. Прикровенный протест против гетерономии и авторитета как будто только и ждет благоприятного часа для того, чтобы проявить свою недостаточную лояльность, превратив ее из несочувствия в отпадение, которое центростремительные элементы обозначают тогда как «измену» (процесс К.П. Крамаржа в распадающейся Австрии).

И всё это соединяется с тем своеобразным пониманием *ответственности*, которое столь характерно для всех демократий, в особенности же для демократических республик. Если в монархии

всякий администратор и всякий политик чувствует себя ответственным в конечном счете перед Государем, то в республиках эта ответственность перемещается принципиально сверху вниз. Важно не то, что о тебе и о твоём образе действий думает глава государства, ибо он сам условно-срочен в своих полномочиях и авторитет его весьма невелик; важно то, как твоя деятельность расценивается «народом», т. е. неопределенной толпой малокомпетентных избирателей. Существенно не то, что я есмь, а то, «нравлюсь» ли я «общественному мнению». Но это «общественное мнение», голосующее и избирающее, остается жертвой субъективных настроений, поддающихся всякому влиянию: и лукавым нащептам, и открытой клевете, и эгалитарному предрассудку, и демагогии, и прикровенной выгоде, и интриге, и прямому подкупу. Демократия и республика подменяют предметную государственную ответственность — капризную популярность, беспредметным и некомпетентным голосованием толпы. Здесь люди опасаются не политических ошибок и не политической неправоты, а забаллотирования. Политический «успех» зависит не от того, что человек есть на самом деле, а от того, чем он прослышет. При этом интриганство, нечестность и подкупность повредят ему меньше, чем волевая самостоятельность, властная решительность и предметно-ответственное гражданское мужество. Республика предпочитает избирать несамостоятельных, угодливых, уклончивых нырял, людей «бледных», невыдающихся, не угрожающих никому своим превосходством и талантом, людей середины, уме-

ющих скрывать свою волю, если она имеется, и свой ранг, если он выше среднего; демократия не любит сильных и выдающихся людей, прирожденных водителей... И тем, кто хочет делать карьеру в республике, — лучше скрывать свой настоящий духовный размер, «прибедняться», не «отпугивать» своих избирателей и подчеркивать свою любовь к равенству и свою особую демагогическую «лояльность» по отношению к толпе. Вот почему республиканцы предпочитают «не делать», чем «повредить себе деланием»; зачем рисковать волевой активностью, когда безобидная пассивность имеет у избирателей гораздо больший успех? Активный человек непременно наживет себе врагов среди избирателей: завистников, несогласных, понесших вред, шокированных его предприимчивостью и напором и т. д. Пушкин был прав, когда утверждал,

Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит;
Что ум, любя простор, теснит...

Этим объясняется и та боязнь ответственности, которая характерна для демократических республик. Ответственность обременяет человека при избрании, уменьшает его шансы, мобилизует его врагов. Поэтому «лучше» (т. е. субъективно выгоднее) не брать на себя никаких решений и свершений; лучше укрыться за коллективом, обеспечить себе непроглядную среду, свалить с себя одиум непопулярного решения, подкинуть инициативу другому или другим. Отсюда искусство,

напоминающее чернильных моллюсков, — укрываться в непрозрачной мути, спасаясь от врага и не давая возможности индивидуализировать вину и ответственность. Это политическое искусство процветает особенно в тех странах, где сильны закулисные организации, озабоченные взаимным укрывательством, как бы некоторой «изначальной» «амнистией», дарованной их членам по преимуществу. Понятно, до какой степени такой порядок вещей снижает политический уровень в стране. И если в монархиях всякая безответственность смущает и возмущает идейных монархистов, то в республиках ко взаимному укрывательству от политической ответственности общественное мнение привыкает незаметно и прочно.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ ШЕСТОЙ

- 1) См. гл. 15 и 16 моего исследования «О сущности правосознания».
- 2) См. «О сущности правосознания».
- 3) См. главу 3 («О свободе») в моей книге «Путь духовного обновления», 71-99.
- 4) См. у С.М. Соловьева, «История России с древнейших времен», том VIII, 15.
- 5) См. Буасье, «Падение язычества», рус. пер., 403.
- 6) Там же.
- 7) «История Города Москва», 619.
- 8) Карлейль, «Герои и героическое в истории», рус. пер., 218.
- 9) С.Ф. Платонов, «Статьи», 231.
- 10) «Mémorial de Sainte-Hélène», Paris, 1830, III, 155.
- 11) С.Ю. Витте, «Воспоминания», I, 221.
- 12) См. «Fragmente. Glauben und Liebe oder der König und die Königin».
- 13) «Бесы», Часть вторая, глава восьмая: Иван-Царевич.

14) Интересно, что почти все эти критические укоры высказывает в своей книге « Власть и общественность на закате старой России » такой мудрый либерал, как В.А. Маклаков. « Наши вожди, ученые и публицисты знали только себя и свой круг; они легко были готовы принять к исполнению все научные выводы права, синтез научной теории, безотносительно к материалу, к которому придется их применять » (150)... « А недостаточное знакомство с заграничной жизнью и полная безответственность за суждения о ней склоняли русскую публицистику к наиболее смелым и теоретически последовательным взглядам и выводам » (150). « Один, но зато главный вопрос не был поставлен : в какой мере эти рецепты науки и опыта Запада были применимы к тогдашней русской действительности ? Россия была не только политически отсталой, но невежественной, почти безграмотной страной » (151). « Даже для теоретических сторонников четыреххвостки немедленный успех ее в России был невероятен » (152). « О том, что Монархия в России опирается не на одни только штыки, что ее поддерживает громадная часть населения, что Монархия тоже может говорить его именем, что России нужно было *вовсе не уничтожение Монархии, а соглашение с ней*, — об этом наши вожди и не думали » (153). Они хотели « не оздоравливать, а компрометировать, провоцировать и добивать самодержавие » (163).

15) См. Половцев, « Дни затмения », 75.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Основные предпочтения — 5

Наша попытка вскрыть те прикровенные душевно-духовные настроения, или, иначе, те *бессознательные тяготения правосознания*, которые являются основными и решающими для верных монархистов, с одной стороны, и для зрелых республиканцев, с другой, — будет закончена, если мы укажем еще на следующее.

1

Монархизм ценит прежде всего *верность* человека. Эта верность связывает его сразу с национальным духом народа, с государственной формой верховного единовластия и с личностью (соответственно, с родом, династией) Государя. Монархист есть человек *вернопреданный*. Можно было бы сказать, что он живет прежде всего *сердцем*, причем его сердце облеклось в форму *воли*, руководится началом *чести* (национальной, царственной и личной) и ищет *совестных* путей.

Среди рыцарственно-геральдических формул

или орденских « девизов » есть множество таких, которые свидетельствуют об их монархическом происхождении. Таковы, например, все девизы, говорящие о *верности*: « Блаженство в верности » (русский дворянский девиз), « Испытанной верности » (датский падеж, « a la lealtad acrisolada », испанский орден Изабеллы), « любовь и верность » (« amor e fidelidade », бразильский орден Розы), « усердие, преданность, верность » — турецкий орден Меджидие), « верность » (« Fidelitas », баденский династический орден), « за верность и веру » (русский орден Андрея Первозванного), « бесстрашен и верен » (« Furchtlos und treu », вюртембергский коронный орден), « непоколебимая верность » (« Immota fides », брауншвейгский орден Генриха Льва), « за веру, царя и закон » (русский орден Белого Орла), « верность, лояльность и патриотизм » (сиамский орден Хаккри), « в верности крепок » (« In traw vast », баварский орден св. Хуберта) и многие другие. — Таковы же девизы, прямо говорящие о *монархии*: « Бог и Король » (« Gud og Kongen », орден датского Имперского Флага), « За короля и за закон » (« Pelo Rei e pela lei », португальский орден Башни и Меча), « D.S.F.R. » (« Domine Salvum Fac Regem », Боже храни Царя, русский орден св. Екатерины), « За веру, государя и отечество » (сербский орден), и другие. Сюда же относятся девизы *чести*, например: « силен родовой честью » (« avito vicet honore », орден Вендского королевства, Мекленбург-Штрелиц), « Бог, Честь, Родина » (« Gott, Ehre, Vaterland », Гессенский орден Людвига, воспроизведен в Гондурасе « Dios, Honor, Patria »),

« За честь Бадена » (баденский военный орден Карла Фридриха).

Есть, однако, девизы, которые умалчивают о верности, короле и чести. Многие из них, говорящие о Боге, о заслугах, о храбрости, о мужестве и усердии, *выношены во времена монархии*, но могли бы быть восприняты и республиканцами, если бы они вообще придавали больше значения духовным началам правосознания. Такова была, например, судьба французского девиза Почетного Легиона: « Честь и родина » (« *Honneur et Patrie* »); основанный в X году республики консульским декретом, этот орден был принят и обновлен при империи и в нынешней республиканской Франции это единственный существующий орден. Есть девизы, рожденные в монархии, но с ее идеей нисколько не связанные: таков, например, высший английский орден « Подвязки » с его девизом « *Honni soit qui mal y pense* », который легенда связывает с фривольным событием на придворном балу 1); впоследствии оно было прикрыто посвящением Богу, Богородице и св. Георгию. Идею *служения* выговаривают девиз принца Уэльского « *Ich dien'* » и аналогичные девизы. К Богу восходят следующие орденские девизы: ангалтский домовый орден Альбрехта-Медведя « *Бойся Бога и исполняй Его веления* » (« *Fürchte Gott und befolge seine Befehle* »), нидерландский орден оранско-нассауский « *Господь да будет с нами* » (« *God sij med ons* »), вюртембергский орден Фридриха « *Господь и мое право* » (« *Gott und mein Recht* »), баварский орден Михаила « *Кто подобен Богу ?* » (« *Quis ut Deus ?* »), орден герцог-

ства Гессенского, восходящий к Филиппу Великодушному, «Если Бог с нами, кто против нас?» («Si Deus nobiscum, Quis contra nos?»), орден Индийской Звезды «Нас ведет небесный свет» («Heaven's light our guide») и другие. Идею *заслуги* выговаривают орденские девизы савойский, итальянский, саксен-мейнингенский, гогенцоллернский, португальский, венецуэльский и другие. Идею *научного и художественного творчества* формулируют орденские девизы баварский и португальский. Идею *мужества, характера и силы* выдвигают следующие девизы: вюртембергский «бесстрашен и верен» («furchtlos und treu»), испанский орден Золотого Руна «я дерзнул» («Je l'au empris»), мекленбургский орден Кондора «я выше препятствий» («Altior adversis»), гавайский Камехамеха орден «будь мужчиной» («E hookanaker»), японский орден Хризантемы «возвышенные деяния и честные поступки», китайский орден дракона «пред ним робеет лев и умолкает тигр», ганноверский орден гвельфов «и опасности не страшны» («Auch Widerwärtigkeiten schrecken nicht»), прусский орден Красного Орла «искренен и стоек» («Aufrichtig und standhaft»), шотландский орден Чертополоха «никто безнаказанно не оскорбит меня» («Nemo me impune lacessit»), нидерландский орден Вильгельма «за мужество, ум и верность» («Voor moed, beleid, trouw») и другие.

При внимательном рассмотрении всего этого идеологического богатства приходится сделать вывод, что почти все эти девизы имеют *монархическое* происхождение и *монархическую* историю,

но что есть среди них такие, которые выговаривают не монархическую, а религиозную, нравственную и общегосударственную идею, идею *здорового правосознания*. Такие девизы легко могли бы быть приняты республиканцами, если бы они созерцали свою политическую форму в религиозно-нравственном освящении и в свете здорового и глубокого правосознания. Но их государство есть нечто светское и свободное от морали и правосознание их не любит никаких глубин и якорей. К чему им всё это, когда глава их государства получает свое полномочие в силу капризно сложившегося большинства голосов, когда он становится «угодным» в данный момент (*rebus sic stantibus*), и отнюдь не должен быть ни большим, ни выдающимся человеком? Напротив, ему тем легче «пройти» через избирательную процедуру, чем менее он по «общему мнению» способен к самостоятельности, политической инициативе и волевым выступлениям. Кандидату в президенты республики гораздо легче сделать карьеру, если он будет держаться как «бледнолицый брат мой», диссимулировать энергию своей личной воли, подделываться под средне-малых людей и не грозить никому своей личностью. К тому же «пожизненная верность» срочно-избираемому чиновнику была бы беспочвенна и смешна.

Далее, истинный монархизм ценит волю к *службе*, как это и выговаривает девиз принца Уэльского, а не волю к *личному выдвигению*.

Было бы неверно истолковывать это обобщение в том смысле, что монархисты свободны от честолюбия. Трудно было бы найти столь наивного человека, который вздумал бы утверждать это. Исторические монархии изобиловали честолюбцами всех рангов и настроений, — людьми, стремящимися во что бы то ни стало подняться вверх и насладиться властью, богатством и почестями. Но все они подлежали суждению монарха и затем его обуздывающей власти.

Достаточно вспомнить хотя бы борьбу королей с феодалами во Франции, особенно при Людовике XI и в эпоху Ришелье, а также Фронду в эпоху Людовика XIV. Первая французская революция явилась победою республиканского честолюбия над идеей «короля» и «монархии», а затем низвержением честолюбивого республиканства силою ума и меча Наполеона Бонапарта. Весь девятнадцатый век эта борьба продолжалась с переменным успехом до тех пор, пока 30 января 1875 г. республика была окончательно признана в Собрании большинством *одного голоса*.

Подобную борьбу монарха с выдвигающимися, — то титулованными, то не титулованными честолюбцами можно проследить в целом ряде стран. Обращаясь к русской истории, вспомним борьбу Иоанна Грозного с подозрительными для него «княжатами» и боярами. Вспомним жалкое тор-

жество «семибоярщины» в Смутное время и народную поговорку «лучше грозный Царь, чем Семибоярщина». Вспомним, как в Смутное время по исчезновении законного царя на Руси «безобразничала и шаталась вся правящая, владеющая среда» 2); как бояре и княжата в Москве творили свой заговорщический произвол; как бояре и воеводы «Митка Трубецкой и Ивашко Заруцкой» искали себе милостей у «Государыни Царицы... Марины Юрьевны и Государя Царевича Ивана Дмитриевича» 3); как князя Гр. Шаховской и А. Телятевский были разбиты в Туле царем Василием Шуйским, в качестве «воров», действовавших совместно с Болотниковым и одним из самозванцев («Петрушкою»); как социально-революционные шайки, шатавшиеся по России, считали «не лишним иметь при себе какому-нибудь» самозванного «царевича» 4), кои размножились тогда числом не менее 15 (Лже-Димитрий I, Лже-Димитрий II, тульский «царевич Петр Федорович», псковской Сидорка, и на Поле царевичи «Август князь Иван», Лаврентий, Федор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий, Ерошка, Гаврилка, Мартынка и т. п.) 5)... Вспомним, как при Михаиле Федоровиче были сосланы хищные честолюбцы и интриганы братья Салтыковы, стоявшие возле престола 6). Как «тишайший Царь» Алексей Михайлович вынужден был, с одной стороны, заточить законного, но самовластного Патриарха Никона, с другой стороны — низвергнуть и казнить посягающего авантюриста Степана Разина. Вспомним судьбу князя Ивана Хованского, думного дьяка Шакловитого, князя

В.В. Голицына; вспомним стрелецкий бунт Цыклера, Соковнина и Пушкина, пострижение царевен Софии и Марфы, бунт Булавина, судьбу царевича Алексея; и далее, судьбу «всемогущего» Меншикова, судьбу князей Алексея, Василия и Ивана Долгоруких, князя Дмитрия Голицына, Артемия Волынского, Бирона, Остермана, Миниха, Сперанского, Декабристов и других «завоевателей государственной власти», кончая графом Витте. Надо признать, что весь XVIII век в истории России прошел под знаком борьбы честолюбивых и властолюбивых вельмож и дворян за выгодное им престолонаследие (перевороты 1725, 1730, 1740, 1741, 1761, 1801 и 1825 годов, при которых погибли три монарха — Иоанн VI, Петр III и Павел I), и только при Николае I власть Государя упрочилась настолько, что «мнение меньшинства» могло быть утверждено его сыном и великие реформы шестидесятых годов могли быть проведены в жизнь. Историкам известно это классическое распределение сил в монархиях: царь добивается народных реформ вопреки аристократам, оптиматам и патрициям (так было в древней Греции, в Риме и в других странах).

Вот почему мы утверждаем, что често- и властолюбие встречается в монархиях тот контроль и отпор, которые отсутствуют в республиках. Самый переход от монархической формы к республиканской назревает в стране тогда, когда появляется, крепнет и организуется отбор свободолюбивого честолюбия, который усваивает обрисованную нами в предшествующих главах политическую ментальность. Чтобы отменить монархиче-

скую форму и ввести республиканскую, необходим активный кадр республиканцев, готовых не только к упорной оппозиции, но и к перевороту, и к революции, а может быть и к цареубийству. И в этом отношении убийцы Императора Павла — Пален, Бенигсен, Зубовы и другие — связаны нитью жуткого преемства с Желябовым, Перовскою, Рысаковым и Гесею Гельфман, а эти, в свою очередь, — с Лениным, Свердловым, Войковым и Голощекиным.

Республиканская форма *узаконивает* стремление предприимчивого гражданина к захвату государственной власти. Она поощряет властолюбие и прямо предпосылает честолюбие; она развязывает политический карьеризм и открывает ему совершенно законные пути и средства. Человек должен доказать на деле, что он « кое к чему » способен, подыскать себе открытую или закулисную партию, которая согласилась бы « портировать » его кандидатуру, найти деньги для предвыборной агитации и добиться арифметического большинства в толпе голосователей, лишенных устойчивого критерия и не знающих его лично. Нормально говоря, захват власти в республике бывает ограничен пределами известной должности; однако ловкие политики умеют расширить эти пределы и добиться полноты власти, подобно Сулле, Марию, Помпею, Юлию Цезарю, Октавиану Августу, Кромвелю, Наполеону I, Наполеону III, Пилсудскому, Муссолини, Гитлеру, Ульманису и другим.

В связи с этим надо установить, что отличие монархической ментальности от республиканской обнаруживается еще в целом ряде особенностей, которых мы можем здесь коснуться только вкратце.

Сознательный и лояльный монархист, испытывая свою политическую ответственность, склонен не переоценивать свою силу суждения, допуская мысль, что ему с его «жизненного места» не всё известно, не всё «видно» и что компетентность Государя и его доверенных лиц может превосходить его личную компетентность. Это совсем не значит, что монархисту «не должно сметь свое суждение иметь», подобно Молчалину у Грибоедова; но это означает, что ему не чужда мысль о *границах* своей силы суждения, — мысль, которая должна быть присуща каждому академику и тем более каждому ученому исследователю. Монархическая лояльность как бы сдерживает человека, пробуждая его политическую ответственность и требуя от него осторожности в вопросах *предметности, объема и категоричности* его суждений. Драгоценное умение *знать о своем незнании* как бы входит в самую сущность монархического образа мыслей, являясь вечным призывом к самообразованию.

Совсем иначе обстоит дело у республиканца, и притом именно у демократического республиканца. Самая государственная форма его требует, чтобы он судил *обо всем*, воображая себя всезнающим и забывая о своей радикальной неком-

петентности. Нет вопроса, который не мог бы быть предложен ему на голосование и разрешение; и чем чаще данная республика прибегает к форме плебисцита, т. е. всенародного непосредственного голосования, тем более распространяется фикция народного всезнайства. Есть республики, которые подвергают всеобщему голосованию такие вопросы, которые требуют специальных познаний, административного опыта и детальной осведомленности. « На основании чего вы подаете свой голос — за или против определенного решения? » спросил я однажды серьезного ученого, историка с мировой известностью. « Видите ли », ответил он мне с образцовой честностью: « завтра мне надо голосовать сразу по трем плебисцитам, а я решительно не чувствую себя компетентным; чтобы голосовать сознательно, мне нужно было бы по каждому вопросу трехнедельную подготовку, а для этого у меня решительно нет ни времени, ни сил. В таких случаях голосуешь на авось »...

Такое голосование, считающееся осуществлением настоящей республиканской свободы и полного народоправства, оказывается совершенно неизбежным, причем надо еще принять во внимание сложность современной общественно-государственной и хозяйственной жизни и юридическую многозначительность каждого слова в каждом предлагаемом законопроекте. Ответственные люди только и могут воздерживаться от таких слепых голосований; безответственные — или следуют партийной директиве, или продают свой голос, или же решают дело « на авось ». Но му-

драя русская поговорка не даром говорит: « небоськины города стоят не горожены, авоськины дети бывают не рожены ». Таким образом, республиканство означает притязательность политической силы суждения и ведет к безответственности в политике. Само собой разумеется, что та же самая беда грозит и монархиям, которые вводят у себя всеобщее и равное голосование, или, что еще хуже, плебисцитарную форму. Опыт « учредительного собрания » в России в 1917 году должен был бы сделаться незабываемым уроком для всего человечества.

4

Нельзя, далее, не упомянуть о том, что монархический уклад души умеет ценить начала *дисциплины* и *субординации*, тогда как республиканство недвусмысленно предпочитает начало *личной инициативы* и форму *координации*.

Это обнаруживается во всех жизненных формах и на всех ступенях бытия, особенно же в семье, в школе и в армии. Для *монархии* характерен более или менее авторитарный строй *семьи*, в котором отец — всё еще домовладыка, а мать — всё еще хранительница « священного очага »; здесь дети почитают родителей, считаются с их волею и приемлют от них и наставление и наказание. *Республиканский* строй семьи тяготеет к своеобразному « равенству » двух и даже трех поколений; он противится семейной субординации и дисциплине; естественное старшинство и первенство родителей становится какой-то устарев-

шей фикцией, отжившим предрассудком; моногамия и моно-андрия расшатываются, а с ними вместе исчезает и мон-архический корень древней семьи.

Для *монархии* характерна *школа*, построенная на авторитете преподавателей и начальников, школа строгая, с субординацией, дисциплиной, военной гимнастикой и взысканиями. Республиканская школа ослабляет все эти нити и узлы. Она строит школу не на субординации, а на неформулированной или по-разному формулируемой «координации». Исключить субординацию совсем ей не удастся; но она пытается сгладить ее углы и шероховатости, смягчить ее остроту и внести возможно больше «товарищеского» духа в общение преподавателя с учениками. При наличности нравственно-высокого уровня у детей и большого жизненного такта у преподавателя — это может дать благие результаты. При других условиях это может быстро разложить школьное дело, что мы и видели в послереволюционной России.

Но гибельнее всего внесение последовательного республиканского строя может отразиться на *армии*. Армия служит прежде всего войне, она есть орудие национальной победы; она *воспитывает* к победе и солдат, и офицеров. Победа же есть достижение совместное, коллективное; и тот, кто ведет армию к победе, должен быть уверен не только в одинаковом, выдержанном *повиновении* подчиненных, но и в их готовности к крайним, *героическим усилиям* в деле повиновения. Солдат должен обладать способностью проявлять вели-

чайшую выдержку и извлекать из себя величайшие усилия, ведущие его не только на жизненный риск, но иногда и просто на смерть — то и другое по чужому велению. Для этого необходима воинская дисциплина, начинающаяся с внешних проявлений и подготовляющая человеческую душу и волю до самой глубины. В бою нет места личному, не координированному произволению; а потому его нет и в «учениях», и в смотрах. Но это не значит, что бой не терпит *творческой инициативы*: глазомера, тактической импровизации, а иногда и стратегически непредусмотренного начинания.

Дисциплина отнюдь не означает палочного или побойного обхождения. Это русские Государя и полководцы постигли давным давно. И тогда как Пруссия, например, практиковала побои в армии, чуть ли не как основу дисциплины, — Петр Великий воспретил бить солдата, а от него это восприняли Миних и Суворов. Здесь надо установить, что военная доктрина Суворова вообще являла гениальный синтез монархической дисциплины и республиканской инициативности, именно в учении его о том, что солдат должен разумыслить всякий свой маневр, относиться к нему сознательно и осуществлять его, хотя и по распоряжению командира, но в то же время по собственной инициативе: он должен присутствовать в каждом своем боевом деянии — *совестью, волею и инстинктом*; и только при таких условиях он будет на воинской высоте. Замечательно при этом то обстоятельство, что Суворов пришел к этой доктрине, исходя от православной веры в духов-

ную личность и бессмертную душу каждого человека.

Это доказывает, что воинская дисциплина при настоящем понимании оказывается наиболее могучей и успешной именно тогда, когда она несомна свободным человеком, — *совестно, честно, предметно и инициативно*. Это доказывает также и то, что монархическое начало не только совместимо с духовной свободой, но что оно достигает своей настоящей жизненной высоты именно тогда, когда духовная свобода приемлет и осмысливает монархию « не только за страх, но и за совесть » 7).

Тот, кто захотел бы убедиться в неприменимости последовательной республиканской идеологии к делу армии и войны, тот должен был бы вспомнить коварно-разрушительный « Приказ № 1 », составленный и опубликованный в феврале-марте 1917 года. Он провозглашал в армии — в отмену гетерономной дисциплины, хотя бы и насыщенной духовною свободою, — чисто республикански-демократический порядок: ограничение прав начальника, вызывающее утверждение прав подчиненного, избирательный порядок, контроль солдатской толпы над офицерами, « ничего без согласия » солдатни и т. д. и т. д. Этого было совершенно достаточно, чтобы разложить армию; мало того, этот порядок не мог бы не разложить и свежую, и победоносную, и кадровую армию; что и совершилось в течение нескольких месяцев. Слепая переоценка принципов « избрания », « координации », « свободы », « контроля снизу » и « прав субъекта » вообще несет республиканцу все опасности и соблазны анархии. К этому нель-

зя не добавить, что такая же слепая переоценка принципов « назначения », « субординации », « несвободы », « бесконтрольности » и « личного бесправия » несет все свои опасности и соблазны формальному и непрозорливому монархисту.

5

Обычно считается, что монархисты воплощают собою « реакцию » или начало « застоя », а республиканцы являются двигателем « реформ » и « прогресса ». Вряд ли это соответствует исторической действительности.

С одной стороны, нам известны монархии, стремительно проходившие через эпоху великих и притом прогрессивных реформ, например Россия при Петре Великом и Александре II; монархическая Германия, погасившая у себя в первой половине XIX века крепостное право и реформировавшая свою законодательную процедуру и всё свое право во второй половине того же века; Италия при Викторе Эммануиле III (реформы Муссолини). Именно монархи не раз обнаруживали в истории свою склонность к социальным реформам; Фюстель де Куланж вспоминает об этом в словах : « цари опирались на народ и приобретали себе союзников в лице плебса и клиентов » 8).

С другой стороны, республиканство, как таковое, нисколько не обеспечивает стране прогрессивные реформы. Так, аристократические республики древней Греции нередко доводили свои государства до беспощадной гражданской войны, не желая идти навстречу низшим классам. « Выс-

шие классы у древних, — пишет Фюстель де Куланж 9), — никогда не владели достаточной умелостью и ловкостью для того, чтобы поставить бедняков на путь труда и помочь им выйти честным образом из нужды и разврата»; отсюда постоянное колебание « между двумя переворотами : один из них отнимал у богатых всё их имущество, другой — возвращал их к обладанию их состояниями »... Возникла кровавая, длительная и ожесточенная классовая борьба, в которой республики разлагались и гибли. И « нельзя сказать, на какой стороне из этих двух партий было больше злодейств и преступлений ». Вспомним проскрипционную борьбу в республиканском Риме между Марием (демократы) и Суллою (« оптиматы »), ее развитие и увенчание цезаризмом. Спросим себя, какими « прогрессивными реформами » может гордиться Третья Французская республика, осуществляющая, по-видимому, « последнее слово демократии » ?

Вывод, который мы из всего этого могли бы сделать, звучал бы так. Монархический строй умеет ценить и блюсти *добрые традиции*; опасность его состоит в том, что вместе с добрыми традициями он будет поддерживать во что бы то ни стало и дурные традиции, и что косный традиционализм и консерватизм помешает проведению творческих необходимых реформ. А республиканский строй, свиду развязывающий себе руки для всяческого *новаторства* и добывающийся его, способен к тому, чтобы из революционного духа порвать и убить все благие традиции и обратиться к такому « новаторству », которое станет

сущим проклятием для всего народа. Живые примеры тому мы находим в истории первой французской революции и современной коммунистической революции в России.

6

Гораздо больше оснований имеется для того, чтобы установить тяготение монархического строя к *властной опеке* над народом и тяготение республиканского, особенно же демократически-республиканского, строя к *самоуправлению* во всех делах и начинаниях.

Дело в том, что государство как « многоголовый » или совокупный субъект права может строиться по принципу « учреждения » или по принципу « корпорации ».

Жизнь учреждения (например, больницы, гимназии) строится *сверху*, а не *снизу*. Это означает, что люди, заинтересованные в деятельности этого учреждения, получают от него благо и пользу в том порядке, который предписывается самим учреждением; они не формулируют самостоятельно ни своего, общего им всем интереса, ни своей общей цели. Они не имеют и полномочия действовать от лица учреждения. Они « проходят » через него, но не составляют его и не строят его. Они послушно принимают от учреждения — форму жизни и деятельности, распоряжения, заботы, услуги и благодеяния. Не *их* слушаются в учреждении (больных, гимназистов), а они слушаются в учреждении. Учреждение само решает, принимает оно их или нет; и, если принимает, то на

каких условиях и доколе. Они не выбирают его органы и не имеют права «дезаурировать» или сменять его должностных лиц; и далеко не всегда могут самовольно отвергнуть его услуги и «уйти». Следовательно, учреждение строится по принципу *опеки над заинтересованными людьми*. Оно имеет свои права и обязанности, свой устав, свою организацию; но всё это оно получает не от опекаемых; оно не отчитывается перед ними и должностные лица не выбираются опекаемыми, а назначаются. Больные в больнице не выбирают врачей; дети в детском саду не могут сменить свою воспитательницу; гимназисты в гимназии не вырабатывают себе программу преподавания; эпилептики не назначают себе режима; преступники не могут изменить порядок своего заключения; солдаты, выбирающие себе офицеров и главнокомандующего, суть явление бредовое; кадеты не могут самовольно выйти из кадетского корпуса; студенты принимаются в университет, но не определяют его целей и задач, и профессора не слушаются их распоряжений. И поскольку государство есть не более, чем *учреждение*, постольку народ в нем не управляет собою и не распоряжается, а получает свой правопорядок и все его блага (безопасность, гарантию прав, правосудие, финансовое управление, лечение, просвещение и т. д.) в порядке опеки, повиновения и воспитания. Понятно, что принцип учреждения, проведенный последовательно до конца, погасит всякую самостоятельность граждан, убьет свободу личности и духа и приведет к *тоталитарному* строю и его каторжным порядкам.

Напротив, корпорация строится не сверху, а *снизу*. Она состоит из активных, уполномоченных и первоначально равноправных деятелей. Они объединяются в единую организацию по своей собственной воле: хотят — входят в нее, не хотят — выходят из нее (клубы, кооперативные общества и т. д.). Эти люди имеют общий интерес и вольны признать его или отвергнуть. Если они признают его и входят в эту корпорацию, то они тем самым имеют и полномочие участвовать в ее организации. Они уполномочены формулировать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать голосованием необходимые органы, утверждать и дезавуировать их, «отзывать» свою волю, погашать свои решения большинством голосов... Корпорация начинается с индивидуума, с его мнения, изволения и решения; с его свободы и интереса. Она строится снизу вверх и основывается всё на голосовании; она вырастает из свободно-признанной солидарности заинтересованных деятелей. И поскольку государство есть корпорация «чистой воды», постольку оно принимает и последовательно проводит принцип «всё через народ»; и самые учреждения его, без которых ни одно государство всё же не может ни жить, ни действовать, — оказываются подлежащими корпоративному контролю. Понятно, что принцип корпорации, проведенный последовательно до конца, погасит всякую власть и организацию (правом индивидуального выхода, неповиновения или даже, по древне-польски, правом «liberum veto»); тогда государство разложится и начнется *анархия*.

Таким образом, предел учреждения — тоталитарная тюрьма; предел корпорации — всеобщая анархия.

На самом же деле государство в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты учреждения с чертами корпорации: оно строится *и сверху, и снизу*, и по принципу властной опеки, и по принципу выборного самоуправления. Ибо есть такие государственные дела, в которых необходимо властное распоряжение; и есть такие дела, в которых уместно и полезно самоуправление.

Корпоративный строй требует от граждан *зрелого правосознания*: самообладания, чувства собственного духовного достоинства, разумения державных и особенно великодержавных задач, искусства блюсти свободу, знания законов культуры, политики и хозяйства. Нет этого и всё разложится. И вот, ко всем гражданам с незрелым и дефективным правосознанием (дети, несовершеннолетние, душевно-больные, дикари, политически-бесмысленные, уголовно-преступные, аномальные, жадные плуты и т.д.) государство всегда останется учреждением. Однако и остальные люди живут на свете не для того, чтобы растрачивать свое время и народное терпение на политические распри, партийную агитацию и голосование. Политика отнюдь не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кипение в политических разногласиях, страстях и интригах есть своего рода «ярмарка тщеславия», азарт честолюбия, школа интриги, скачка с препятствиями, растрата народных сил и жизненных

возможностей. В довершение всего — политическое дело требует особых знаний, и не только от активных деятелей, но и от голосователей; оно требует изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми « все » никогда не обладали, да и не будут обладать. Политическое строительство всегда было и всегда будет делом компетентного меньшинства. Корпоративный строй растрчивает народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.

Опасность « учреждающего строя » состоит в том, что он, ссылаясь на приведенные нами соображения, сделает вывод, что зрелое правосознание вообще недоступно гражданам, а потому не следует заботиться о его воспитании и укреплении. Этим он запустит и обессилит не только правосознание своих граждан, но и « монархизм » их правосознания. Темная толпа может иметь *монархический инстинкт*; но такой инстинкт будет всегда удобопревратным, а потому будет однажды соблазнен, извращен и разложен. Пути к анархии ведут не только от чрезмерностей республиканства, но и от беспочвенных и невоспитанных монархических настроений. Россия испытала это за последние века четыре раза: в Смуте, при Разине, при Пугачеве и во время большевицкой революции.

Итак, надо признать, что монархическое тяготение к учреждающему строю должно найти свой предел в воспитании: граждане монархии должны воспитываться к корпоративному смыслу и умению. Нелепо строить государство по схеме больницы, школы или тюрьмы. Ибо государ-

ственно зрелые граждане — не больные и не школьники; они суть строители государства; их осознанная солидарность драгоценна, их политическая активность выражается в политическом служении, их публично-правовая уполномоченность зиждительна не только тогда, когда они назначены сверху, но и тогда, когда они избираются снизу.

А это означает, что монархист, организующий свое государство, должен считаться прежде всего с наличным в данной стране и в данную эпоху уровнем народного правосознания, определяя по нему то *жизненное сочетание из учреждения и корпорации, которое будет наилучшим при данных условиях жизни.*

Таковыми условиями являются :

1. *Размеры территории* : чем больше территория государства, тем необходимее сильная центральная власть и тем труднее проводить корпоративный строй.

2. *Плотность населения* : чем плотнее население в стране, тем легче организация страны; малая плотность может сделать форму учреждения совершенно необходимой.

3. *Державные задачи государства* : чем грандиознее они, тем меньшему числу граждан они доступны и понятны, тем труднее осуществление корпоративного строя.

4. *Хозяйственные задачи страны* : с примитивным хозяйством маленькой страны легко справиться и республиканское государство.

5. *Национальный состав страны* : чем однороднее он, тем легче народу самоуправляться.

6. *Религиозное исповедание народа*: однородная религиозность облегчает управление, многообразная — затрудняет; обилие воинствующих исповеданий и противогосударственных сект может стать прямою опасностью для государства.

7. *Социальный состав страны*: чем он первобытнее и проще, тем легче дается народу солидарность, тем проще управление.

8. *Уровень общей культуры и особенно правосознания*: чем он ниже, тем необходимее форма учреждения; полуобразованность будет добиваться республики; истинное образование постигнет все преимущества монархии и всю ее творческую гибкость.

9. *Уклад народного характера*: чем устойчивее, духовно самостоятельнее личный характер у данного народа и чем меньшим темпераментом он отличается (флегма!), тем легче осуществить корпоративный строй; народ, индивидуализированный не духовно, а только биологически, и притом бесхарактерный и темпераментный — может управляться только властною опекой.

Всё это имеет значение, конечно, только при прочих равных условиях.

Теперь мы можем сказать, что идея «государства-учреждения» представлена в истории началом монархическим (и диктаториальным); главное орудие его — закон и указ; ему необходимо крепить чувство законности и дорожить им. Идея же «государства-корпорации» представлена в истории началом республики (и демократии); главный способ его жизни — договор и голосование; ему необходимо крепить чувство свободы и

блюсти ее границы, дабы свобода не выродилась в личное произволение, в коррупцию и анархию.

7

Из всего этого видно, что монархическому правосознанию присуще тяготение к единению и единству, к *интеграции* и соответственно к сосредоточению национальной энергии в едином лице, к которому направлены все волевые лучи, создающие его силу и укрепляющие его действие (*аккумуляция*). Этот процесс аккумуляции, т. е. собирания духовных сил в одном, их сосредоточения, усиления, укрепления, «*интенсификации*» и «*потенцирования*» (т. е. увеличения духовной, волевой и политической мощи Государя), составляет самую сущность истинной монархии. В этот процесс вовлекается весь народ, оказывающийся *солидарным* в созидании и укреплении этого единого и общего, полномочного личного центра страны. Процесс этот должен быть охарактеризован как *политически-органический*, т. е. процесс национального духовного взаимопитания и совместного укрепления; он срачивает народное множество и в этом смысле может быть обозначен как «кон-кретный» (срачивающий, сращенный).

Напротив, республиканскому правосознанию, отменяющему и разрушающему это духовно-политическое центрирование, присуще тяготение к коловращению вокруг пустого места: ибо президент, периодически избираемый из политически «бледнолицых», малоуполномоченных (президент Соединенных Штатов составляет исключе-

ние !), « ничем не грозящих », но и « ничего не обещающих », послушных политиков, никак не может создать центра для национальной аккумуляции. Республиканское правосознание совсем и не верит в это и не дорожит этим. Оно дорожит свободным многообразием мнений и предается вольной *дифференциации*, ведущей к разногласию и разномнению. Здесь цветет стихия политической *конкуренции*, приводящая к раздельности, к личной, групповой и классовой борьбе. Отсюда эти черты *дискретности* (т. е. разъединенности) и *атомизма* (или распыления), присущие республикам. Если монархическое государство есть прежде всего *единство* и лишь в его пределах — *множество*, то республиканское государство есть прежде всего *множество*, всегда стоящее перед задачей *объединения*. Это объединение достигается в действительности лишь в ту меру, в какую удастся выработать *арифметическое большинство голосов*, вечно срываемое изоцренными мероприятиями агитации, партийных группировок, перекройки программ или прямыми (то парламентскими, то вне-парламентскими) интригами меньшинства. Для примера достаточно вспомнить парламентский трюк английской рабочей партии, осуществленный в середине XX века, который состоял в том, что множество членов ее сделало вид, что покидают здание парламента и уходят домой с тем, чтобы в момент голосования вдруг вынырнуть из глубоких кулуаров и сорвать голосование консервативной партии.

Эта вера в арифметическое большинство придает республиканскому строю характер *механи-*

ческий и случайный; памятником этого осталось французское парламентское голосование 1875 года, в котором республиканский строй был предпочтен монархическому большинством одного, единого голоса.

Таково в общих чертах различие между монархическим и республиканским правосознанием.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ

1) В 1350 году король английский Эдуард III заметил на балу, что у его любовницы графини Солсбери упала с левой ноги синяя подвязка, он быстро поднял ее и при этом неосторожно зацепил и поднял у нее платье. Графиня, видя насмешки придворных, воскликнула: « да будет стыдно тому, кто подумал об этом что-нибудь дурное ».

2) И.Е. Забелин, « Минин и Пожарский », 125; Платонов, « Смутное время », 135.

3) Забелин, « Минин и Пожарский ». См. на стр. 301-302 автентический документ.

4) Платонов, « Смутное время », 135.

5) Забелин, « Минин и Пожарский », 85; Платонов, « Смутное время », 135 и др.

6) Соловьев, Учебная книга русской истории, 176.

7) Свод Основных Государственных Законов, том I, раздел I, статья 1.

8) « Древняя гражданская община », русский перевод, 235.

9) Там же, 323.

ИЗ ЛЕКЦИЙ « ПОНЯТИЯ МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКИ »

ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ МОНАРХА

Я уже указал на то, что *доверие к царю* образует первое и основное условие не только прочности монархии, но и просто самого существования ее. (...) И нужно признать, что если мы начнем внимательно читать мировую *идеологическую* литературу о монархии, то мы увидим эту всюду проявляющуюся заботу о том, чтобы царь помнил, что он не должен нарушать доверия подданных к себе, но, напротив, — питать его и укреплять.

Редкий народ не имеет своего выработанного, выстраданного образа « хорошего » или даже « идеального » царя. И почти повсюду мы находим указания на то, что царю должно быть присуще особого рода внутреннее духовное делание, которое должно придать ему необходимые ему свойства, ставящие его на подобающую ему высоту, делающие его достойным того отношения к нему со стороны подданных, которое составляет самое естество царской власти. В основе этого

внутреннего делания, в коем царь должен пребывать — лежит *религиозность*. Это могло бы быть ясно уже и из того, что я раньше говорил о мистическом восприятии монархии, присущем монархическому правосознанию. Я касаюсь этого сейчас исключительно с точки зрения *доверия* подданных к монарху. Это доверие должно иметь некоторое последнее основание: *уверенность подданных в том, что монарх сам ставит себя перед лицом Божие и сам измеряет свои дела и решения критериями божественного откровения*; это понятно — ибо нет на земле единения людей более могучего, как единение их перед лицом одинаково веруемого Божества. Торжественное поставление себя перед лицом Божие и выявление своего религиозного лика — вот смысл, *основной смысл* всякой монаршей *присяги* и всякого *коронования*. Так бывало во все времена и у всех народов: царь и народ соединяются в доверии — ставя себя перед лицом Божие. Здесь особенное значение приобретает *едино-исповедность* монарха и народа: доверие предполагает *единоверие* и питается им.

(...) Еще в книге Ману было намечено и затем в Риме, в средние века и особенно в старой России встречается *учение о двойном составе царского существа: божественном и человеческом*.

Через обряд или без обряда — но в сокровенной глубине царской души утверждается некая *священная глубина*, качественно высшая по сравнению с обыкновенными людьми и призванная к тому, чтобы подчинить себе и обычно-человеческое, страстное и грешное, земное сердце царя. Горе царю, если он этого подчинения не соблю-

дает, если он сам не культивирует в себе эту священную глубину — духа, любви, благой воли, справедливости, мудрости, бескорыстия, бесстрастия, правосознания и патриотизма. Книга Ману исчисляет все соответствующие пороки или хотя бы слабости царя и непрестанно договаривает об их последствиях: «Божья кара истребит царя, уклоняющегося от своего долга, царя и весь его род».

Этот двойной состав царского существа — духовно-божественный и человечески-грешно-страстный — различали и в Египте: я описывал вам жертвоприношение фараона, со жрецами и народом — перед собственной своей статуей. Духовно-божественный состав царя является художественно-объективированным; это то, чем царь *должен* быть; это его, заложенная в его сердце, потенция — его платоновская идея, предносящаяся ему в небесах; или лучше — его аристотелевская энтелехия, имманентная его существу, но в данный момент созерцаемая им «вѣну» — в художественном образе идеальной статуи; понятно, что молитва гласит — дай мне стать в жизни объективным идеалом царя — царем праведным и совершенным, подобным Богу.

Ясно, что сердце царя *может* быть в руке Божией, *должно* быть в руке Божией, *призвано* к этому — и в глубине своей уже находится в ней; но может и обособиться. Именно эту сторону императорского существа римляне и называли «*noumen imperatoris*» или «*genius imperatoris*» — т. е. умопостигаемая сущность императора; именно ей ставили жертвенники и совершали

возлияния. Как указывает Ростовцев, *genius* — это «творческая сила императора», *numen* — «божественная часть его существа».

Историки устанавливают, что между римлянами и христианами-мучениками до известной степени имелось взаимное непонимание — ибо христиане не хотели молиться грешному человеку, к чему их вовсе и не принуждали; а римляне возмущались на то, что христиане не хотят признать священную глубину императорского призвания и императорской идеи как основу государственности, — что христиане потом, начиная с Константина Великого, не только признавали, но даже еще с немалыми преувеличениями.

В Риме был обычай — говорить императору похвальные речи, в которых его естество всячески превозносилось как богоподобное; казалось бы, превозносимому полубогу подобало бы слушать эти льстивые хвалы — сидя или лежа. Однако в действительности это была не лесть, а нотация; проповедь; указание монарху на то, каким он *должен* и призван быть; это была хвала его ноумену — и император всегда слушал эти речи *стоя*, почтительно стоя перед своим ноуменом (*Caesare stante dum loquimur*).

Замечательно, что всюду, где этот двойной состав царского естества упускался или забывался — и царь начинал воображать, что его *земное* естество непогрешимо, а подданные или тупо верили в это или льстиво уверяли его в этом — *всюду* начиналось вырождение монархического правосознания, вырождение и разложение монар-

хии. Таково именно было положение в восточно-азиатских деспотиях.

Эти восточные нравы прошли через века и сохранились до XIX века. Наполеон I видел их и сказал однажды поэту Лемерсье: если бы вы побывали на востоке, « вы увидели бы страну, где государь ни во что не ставит жизнь своих подданных и где каждый подданный ни во что не ценит свою жизнь: вы бы излечились от вашей филантропии » 1).

При таком положении дела оказывается, что у царя есть особое призвание — культивировать в себе свой ноуменально царственный состав, *священную глубину своего духа* — свою волю, свою *благую* волю, свою совесть, свое бескорыстие, свою зоркость и прозорливость, свою справедливость — мало того: все свои личные силы и способности, дары и вкусы, и поступки в порядке очищения и облагорожения. *Ибо царь есть государственный центр и источник спасения и строительства своего народа.*

Что́ есть царь — безвольный, злой, жестокий, несправедливый, заносчивый, мстительный, безответственный? царь лишенный чувства чести и достоинства? царь развратный, порочный, лишенный правосознания, партийный и преступный? царь интриган и картежник? Ответ ясен: всенародное несчастье и источник всенародной гибели; и соответственно — главный источник компрометирования и подкапывания монархической идеи. Отсюда идея и проблема: а) идеального царя; б) царственного характера и царственного воспитания; с) царской религиозности, как самодея-

тельного очищения и углубления; d) главное — центральная проблема всей монархии — вопрос о связи всенародного правосознания с правосознанием самого царя. В этом последнем — едва ли не самое существенное из всего того, что подлежит исследованию и разрешению в монархическом правосознании. Все эти проблемы очень сложны и утонченны; и здесь могут быть только задеты мимоходом.

Образ идеального царя или — что то же — систематическое исследование и описание царских добродетелей и царских обязанностей занимало народы искони: от Конфуция и Будды до Фридриха Великого, от Ксенофонта и Марка Аврелия до Боссюэ, до Феофана Прокоповича, Жуковского и Чичерина. И несомненно, что каждый народ в каждую эпоху трактовал эту проблему по-своему, исходя из религиозных и нравственных воззрений своего времени.

Быть может самое замечательное, что до нас дошло в этом отношении, есть «Книга Великого Научения», приписываемая Конфуцию. Ее первоначальный текст содержит всего около 75 строчек, к которым имеется 1546 примечаний и пояснений, приписываемых ученикам Конфуция. Тысячелетиями книга эта преподавалась в китайских гимназиях всем, начиная с 15-летнего возраста.

Не менее поучителен, а художественно несравненно сильнее, записанный в буддийском каноне Трипитака диалог «О пользе аскетизма», приписываемый самому Будде. В молитвенно-учительное собрание буддийских монахов, заседа-

ющее в лесу, на поляне — их 250 человек, а молитвенная тишина такая, что прибывшие вновь недоуменно вопрошают, « где же это собрание, что не слышно даже дыхание 250 человек ? » — прибывает царь, томящийся вопросом о том, есть ли от аскетизма какая польза и в чем она ? И так как никто не может успокоить его, то он идет к самому Будде и заставляет его говорить на эту тему. Будда развивает ему с величайшим глубокомыслием и тонкостью идею о том, что аскетизмом душа очищается, прозревает в грехах и слабостях своих, и находит великие, верные и спасительные пути жизни. Потрясенный чистотою и мудростью учителя — царь публично кается в томящем его грехе : он убил короля, отца своего, и завладел его троном. « Грех завладел мною, учитель ! как глупца, как безумца, как грешника победил он, учитель, меня, что я отца моего, праведного и истинного царя лишил жизни из-за власти. Дай же мне, учитель, исповедать здесь грех мой как грех и помоги мне, о возвышенный, в будущем ». Будда принимает его покаяние и отпускает его. И по отбытии царя, говорит монахам : « Потрясен, о монахи, этот царь; растерян, о монахи, этот царь. Если бы этот царь, о монахи, не лишил жизни своего отца, праведного и истинного царя, — то на этом месте еще (где он сидел), для него взошло бы отстоявшееся и омытое око истины ». Идея диалога ясна : не может править своим народом царь, не очищающий духа своего покаянием и религиозным созерцанием 2).

Итак : к самой сущности монархического правосознания относится идея о том, что царь есть

особа священная, и что эта священность является не только источником его чрезвычайных полномочий, но и источником чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, и источником чрезвычайных обязанностей — лежащих на нем. Эти обязанности суть прежде всего обязанности внутреннего духовного делания и самовоспитания; в большинстве случаев эти обязанности осмысливаются как религиозные. И среди них — основная обязанность царя: *искать и строить в себе праведное и сильное правосознание.*

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Тэн, 66.

2) См. также: завещание мексиканского царя Копотля, «Пусть божество в тебе будет» Марка Аврелия, у Юлиана Отступника, обращение Грозного к Стоглаву, письмо Сильвестра к Грозному, у Максима Грека, беседы Сергия и Гермогена, наставление к сыну Екатерины II, Герье о Людовике XIV.

ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛАНИЕ МОНАРХА И ЕГО КАЧЕСТВА

Вторым условием доверия со стороны народа к монарху является известный уровень *нравственности и характера*, который должен быть у монарха.

Идею о добродетели монарха особенно ярко почувствовал и формулировал азиатский восток : напомним Вам китайскую литературу — древнюю летопись Шу-Кинг и особенно уже цитировавшуюся мною « Книгу Великого Научения » Конфуция, а также книгу законов Ману — я цитировал и ее. Тот же мотив можно найти у Зороастра и Ксенофонта в его « Воспитании Кира ». Аристотель прямо ставит вопрос : « Если начальствующее лицо не будет скромным и справедливым, как оно может прекрасно властвовать ? » 1) « Нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться » 2).

Может быть, Восток так внимательно отнесся к этой идее именно потому, что *слишком много страдал от недостаточной добродетели монархов*. Так, разложение императорского двора и его добродетели было несомненно одной из существенных причин крушения Византии : историк Визан-

тии констатирует, что « в течение 900 лет на престоле сидели люди очень различные по своему происхождению, по воспитанию, характеру и нравственным качествам. Среди этих разнообразных фигур (от Юстиниана до взятия Константинополя турками было 59 царей) можно отметить несколько типов. Цари в меру жестокие — и жестокие исключительно; цари ко всему равнодушные, кроме разгула, пьянства и женской ласки; беспечные самодержцы, предоставляющие управлять государством — своим любимым сановникам; цари-полководцы и в виде исключения — цари занимающиеся наукой » 3). « К царским привычкам, пагубно отзывавшимся на благосостоянии народа, относится и обыкновение растрачивать государственную казну на свои удовольствия. Своих частных средств византийские императоры не отличали от государственного казначейства и часто их совсем не имели. Чревоугодие и бесцеремонное обращение с казенными деньгами составляло общее правило во дворце ». « Своей зверской расправой некоторые цари даже с византийской точки зрения превосходили все пределы и население, привыкшее к покорности, доводили до отчаяния и до бешеного самосуда. В самом начале VII века престолом насильственно завладел Фока (602-610), грубый солдат, дослужившийся до сотника — свирепый характер — он убил не только свергнутого им императора Маврикия, но и пятерых его сыновей — думал упрочить свое положение устрашением — 8 лет терпели византийцы венценосного деспота, но наконец и защищавшая его городская партия зеленых преврати-

лась в его врагов». «Через 75 лет после Фоки — византийский народ испытал власть не менее жестокого императора Юстиниана II. Он не пощадил родной матери и даже ее подверг нещадному телесному наказанию» и т. д. Историк отмечает, что ужас византийских порядков состоял в том, что «за бессмысленными казнями следовал свирепый самосуд толпы» 4). Свергнув безнравственного императора — чернь нередко терзала его заживо — надругивалась над ним — выкалывала ему глаза — возила его по городу привязанным к ослу — мазала ему лицо человеческими нечистотами и т. д.

Для меня нет также сомнений, что именно низкий нравственный уровень одного из замечательнейших русских царей, одаренного великим государственным умом — Иоанна Грозного — погубил его царствование, бесконечно навредил России и положил основание Смуте. Вспоминать ли о Навуходоносоре, о Борджиа и т. п.? Есть степень безнравственности монарха, которая подрывает к нему доверие в народе и разваливает государство.

Однако дело здесь совсем *не в святости* царя — а в той степени разложения личности и, главное, *государственной воли* его, которая мешает подданным доверять ему.

Лев Тихомиров решительно *не прав*, когда он утверждает, что именно *нравственная добродетель* царя составляет сущность монархии и монархического строя. Вопрос не в святости царя: Федор Иоаннович был свят — а строить государство

не мог и сосредоточить на себе доверие народа не был в состоянии. Петр Великий не был святым человеком — и реформы его вызывали против него глухой протест — а народ и в верхах и в низах шел за ним и помогал ему и доверял ему все больше и больше. Это значит, что многое непохвальное в личной жизни царя — вызываемое страстью, неуравновешенностью, но *не бесчестящее царя* — извиняется народом легко; об этом шепчутся, скорбят, это иногда обличают в глаза; но государственную волю, патриотическую преданность, честность и честь Царя — испытывают неумаленными и продолжают ему доверять.

Есть мера страстных эксцессов царя — не подрывающая доверия к нему. И когда великий император Адриан, проведенный 28 лет в пути — в творческой работе над своей империей — от малой Азии до Британии — под старость, переутомленный, нервно надорванный — терзаемый страхом смерти и припадками ярости — однажды в таком припадке выковырял своему слуге, мальчику, глаз посредством грифеля — то такое событие могло ужаснуть, потрясти окружающих, вызвать глубокую скорбь и сострадание к нему — но не могло подорвать к нему доверия так, как обычай Императора Петра III грубо ругать духовенство в церкви во время Богослужения или показывать язык священнику, выходящему из алтаря со св. дарами. Известно, что Елизавета королева английская отличалась замечательной лживостью — к которой, при разоблачении, относилась сама с замечательной циничностью. Понятно, что никакая жестокость Петра Великого не

могла поколебать доверия подданных к нему, как эта лживость.

При прочих равных условиях — монарх имеющий много любовниц — будет менее страдать от недоверия своих подданных, чем монарх лжец, предатель, трус и интриган. Иосиф Волоцкий был, конечно, прав, утверждая : « Царь бо Божии слуга есть, к человеку милостию и казнию. Аще ли же есть царь, над человеки царьствуа, над собою же имать царствующая — скверныя страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавство и неправду, гордость и ярость, злейши же всех, неверие и хулу » — той есть не царь, а мучитель.

Но страсть — и неверие, гнев — и лукавство — все-таки не в равной мере подрывают доверие к монарху. Прославленная необузданная страстность гениального короля английского Генриха VIII и лживость Елизаветы — неравноценны по своим разрушительным для доверия подданных последствиям.

Я не могу исчерпать здесь всего наличного материала по этому вопросу. Отмечу лишь еще совсем немного. В доверии к монарху — *религиозность* и *правосознание* его — имеют гораздо больший вес, чем *святость* и *бесстрастность* его чисто личной нравственности. Однако *религиозность* эта должна находиться в теснейшей связи с его государственным правосознанием; так, чтобы люди чувствовали, что его религиозность есть источник его государственного вдохновения (и гарантия оногo); а его правосознание есть одно из проявлений его религиозного верования. Мистически-настроенный, но растерянно-непротив-

ленческий царь — наподобие Александра I — особенно в последнее десятилетие его царствования — только растеряет сокровище доверия в своих подданных. Словом — не приверженность к обряду и не много-молитвование строит доверие к монарху, а религиозно-фундированная волевая сила характера (в этом была неверность и нестроительность личного уклада императора Николая II).

Особенное значение имеет живое и сильное чувство ответственности в душе монарха. И в этом отношении на первый план выдвигается *идея служения* — в самочувствии и в деятельности монарха. Амвросий Медиоланский выражает это так: «Все, живущие под римским господством, служат императору; но сам император должен служить всемогущему Богу».

Изучающий политическую историю может быть заранее уверен, что *идею служения* он найдет у каждого великого монарха — без исключения; монарх, чуждый идее служения и ответственности, не стоит на высоте и растрчивает капитал национального доверия. И замечательно еще, что эта идея не может быть подменена никакой фразой об ответственности, или позой служения. Когда Петр Великий подписывается на письме к матери «Сынишка твой Петрушка, в работе пребывающий» или ставит на свою печать, уезжая за границу, слова «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую», то весь мир знал и знает, что это не фраза и не поза; и обмануть в этом вопросе фразой и позой можно только людей слепых и наивных. И Ключевский дает выраже-

ние русскому национальному самосознанию, когда пишет о Петре, что у него было два главных побуждения: « Неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг ». Амвросий Медиоланский формулирует это служение как служение Богу; история знает наряду с этим императоров, считавших себя республиканцами, но остававшихся монархами, которые относили это служение свое к своему государству, к родине или народу — таковы Марк Аврелий, Фридрих Великий и Екатерина II.

Укажу, наконец, еще на то, что *справедливость* монарха и *лояльность* его по отношению к законам им самим установленным — т. е. повышенная щепетильность правосознания у него — особенно способны повышать доверие подданных к нему. Всякий акт произвола, незаконности, несправедливости — особенно не в сторону милости, а в сторону интереса своего или (увы) своей партии — подрывает доверие к монарху.

Укажу два характерных *положительных* примера и вам сразу станет ясно, что именно я имею в виду. Один — это знаменитая история Фридриха Великого с мельницей в Sans-Souci в Потсдаме. Мельница досаждала королю, мешала ему жить и работать — мельник же не мог или не хотел уступить и продать — и король почтил гражданскую свободу мельника, отказавшись от экспроприации его беспокойного орудия производства. Популярность (доверие !) короля навсегда осталась связанной с историей этой мельницы. Другой случай — из жизни царя Алексея Михайловича.

Царь Алексей Михайлович был душеприказчиком патриарха Иосифа « и не решался ничего ни взять, ни купить себе из вещей Патриарха. Его очень прельщала серебряная посуда покойного, но он воздержался и писал об этом Никону, что он ничего не хочет покупать. ”Не хочу для того, се от Бога грех, се от людей зазорно: а се какой я буду прикащик — самому мне (вещи) иметь, а деньги мне платить себе же”. Такая нравственная щекотливость — замечательное явление для того века » — добавляет историк 5).

Я выбрал эти два примера наудачу; но их, конечно, можно было бы привести множество. И если народ (в верхах или в низах) узнает о них при жизни царя — то он начинает верить ему при жизни до конца; а если узнает по смерти — то проценты с этого капитала доверия идут его наследникам и самой идее монархии.

Естественно, что именно это доверие, составляющее один из наиболее существенных и характерных элементов монархического правосознания — лежит в основе той системы государственного устройства и управления, которая известна в истории и в политике под именем « *самодержавия* ». Ибо в самом деле — цельное и искреннее доверие к главе государства естественно приходит к тому, чтобы предоставить субъекту, к которому это доверие относится, — *всю полноту государственной власти*.

В эту полноту включается — независимость монарха от других органов государства, неподчиненность его им, неотчетственность его перед ними; обратно: подчиненность *их ему* — как в

порядке функциональном, так и в порядке экзистенциальном и персональном. В период римской империи, воспринимая традицию восточных деспотий, пытались продолжить это самовластие монарха и за пределы закона — утверждали, что *princeps legibus solutus est* — монарх не связан законами — и при этом, понятно, преступали основную аксиому права и правосознания и уводили монархию за пределы *и* права, *и* государства.

На самом деле *самодержавие* есть форма *государственного* устройства, а следовательно и разновидность *права*; а потому все аксиомы права и правосознания действительны и для самодержавия. Так: закон, законно установленный и законно не отмененный, обязателен для всех — и для подданных, и для государственных органов, если только в законе особо не оговорено, что есть органы, могущие остановить применение неотмененного закона (например, так именно обстоит с правом монарха дать аболицию или амнистию — но это право, специально оговоренное в законах, и есть *право* и не уводит ни монарха, ни его действий в область внеправового произвола). Так или иначе, но нельзя не отметить, что монархическое правосознание, покоящееся на полноте доверия к монарху, всегда тянуло к самодержавному пониманию монархии.

Замечательно, что такое полновластие монарха обстоит по законам и в Англии, где монарх, по признанию Блэкстона, Лорда Брума, Гладстона, Беджгота и других знатоков, имеет права совершенно совпадающие с самодержавным монархом России. *Блэкстон*: «король Англии не только

главный, но, собственно говоря, и единственный правитель Англии; все остальные действуют по его поручению и подчинены ему». *Гладстон*: «монарх Англии — это символ национального единства и вершина социального здания. Он творец законов, высший правитель церкви, источник справедливости, единственный источник всех почестей, лицо, которому служат все военные, морские и гражданские служащие. Монарх обладает очень большой собственностью, он получает по закону все государственные доходы и владеет ими, он назначает и увольняет министров, заключает договоры, милует преступников или смягчает приговоры, объявляет войну и заключает мир, созывает и распускает парламент; в осуществлении всех этих полномочий он не ограничен никакими особыми законами и в то же время свободен от ответственности за последствия своих действий». *Беджгот* пишет что люди будут изумлены, если им сказать, сколько вещей английский король может сделать, не спрашивая мнения парламента: «он может распустить всю армию, уволить всех офицеров, начиная с главнокомандующего, распустить всех моряков, продать все корабли и все морское снабжение, заключить мир, пожертвовать Корнуэльсом и начать войну для завоевания Бретани», и т. д.

То обстоятельство, что король английский в действительности этого не делает, исполняет советы своих министров и т. д. — есть дело не закона, а политического обычая. Он *имеет право* повести себя иначе. Еще 15-20 лет тому назад все это могло казаться курьезом — забыли отменить

отжившие законы; и все. Ныне начинают думать иначе : и близок, может быть, тот день, когда правосознанию в Англии придется оживить и свои с виду отошедшие в прошлое слои, и законы, казавшиеся мертвым грузом прошлого. Достаточно сказать, что фашистский переворот в Италии *мог* быть отражен и подавлен итальянским королем, который решил этого не делать и не отдал приказа армии, готовой к отпору, стрелять; достаточно постигнуть тот акт, который совершил еще несколько лет тому назад великий король Югославии и попытаться дать юридическую конструкцию происшедшему; и можно с уверенностью будет сказать, что если через пять лет в Англии большинство членов в Палате Общин будет принадлежать коммунистам, то английскому народу придется вспомнить о природе монархического правосознания, а английскому королю останется выступить в качестве самодержца, самодержавно оздоравливающего свою страну. И это будет не « реакцией », не возвращением к « прошлому », к « отжитым, устаревшим представлениям » — а только самоуглублением монархического правосознания, оживлением его родовой глубины в час опасности, пробуждением его основного существа, заснувшего от слишком долгой безопасности, избалованного правопорядком и отвыкшего видеть *трагическую* природу государства и его рождение из несчастий и из беды.

Это означает, что к самому естеству монархического правосознания относится — питать к монарху *полноту доверия* и возлагать на монарха *полноту ответственности*. Для монархического

правосознания *не* характерно — требовать от монарха, чтобы он *все делал сам*; напротив — монарх может дать народу самоуправление, конституцию и даже парламентаризм с ответственным министерством; но монархическому правосознанию свойственно — предоставлять монарху (полнота доверия!!) право и возможность *изменить* это самоуправление, отменить эту конституцию и погасить парламентаризм и ответственное министерство. Важно не то, чтобы вся власть в государстве была *функционально* связана волею монарха; но важно, чтобы она была *экзистенциально* (конечно, через закон, а не в порядке произвола) ему подчинена. Нелепо думать, что всякий монархист есть враг местного самоуправления, общественной самодеятельности и народного представительства; но для всякого монархиста характерно требование, чтобы монарх не связывал себя присягой никакой системе учреждений; и еще : *требование, чтобы никто не требовал этого от монарха.*

Все европейские конституции, по коим монарх обязан присягнуть, что палат будет две, что без палат нельзя ступить шагу, что министры назначаются из состава парламентского большинства (неважно, чему именно присягает монарх) — монархист испытывает как конституции проникнутые республиканским духом и не сочувствует им. С точки зрения монархического правосознания, при этих конституциях — демократы данной страны оказываются гарантированными от монарха и от его воззрений, но страна не является гарантированной от революционного распада и гибели.

Пафос независимости противостоит монарху и обеспечивает себя от него; но он обеспечивает свободу действия и противогосударственным, и противонациональным партиям. Недоверие к главе государства, и в частности к монарху, предпочитает иметь гарантию против монарха и не иметь гарантию против революционного разложения страны. И если бы какой-нибудь республиканец возразил на это, что ведь республика может в минуту опасности выдвинуть *диктатора* — то это будет только признанием того, что возвращение к монархическому принципу бывает неизбежно и для республиканцев; ибо диктатура есть явление монархическое в немонархии; и сколько раз в истории республика превращалась в монархию на путях диктатуры.

Итак : монархическому правосознанию присущ и характерен пафос доверия к главе государства; а республиканскому правосознанию — пафос гарантии *против* главы государства.

И наконец — понятно, что в монархии утрата доверия к монарху начинает разлагать весь государственный строй; а в республике — вопрос о доверии к президенту даже и не ставится; или вернее — всякий недоверяющий волен агитировать против него, подрывать к нему доверие, выставлять другого кандидата и забаллотировывать неугодного. Недоверие к главе государства прямо узаконено в республике : и избирательностью президента, и срочностью его полномочий, и запретом переизбирать президента (это не во всех республиках), и ответственностью его за измену (тоже не во всех республиканских конституциях),

и правом агитировать против него, и голосовать не за него. По самому существу дела, республиканский глава государства есть кандидат на законное свержение и эвентуальный изменник своей страны. Обязанность честного монархиста — доверять главе своего государства; обязанность честного республиканца — недоверять главе своего государства. Недоверяющий монархист — близок к измене своему государству, настолько же, насколько к измене своему государству приближается доверяющий своему президенту республиканец.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) « Политика », I, 5, 5.
- 2) Там же, III, 2, 9.
- 3) Безобразов, « Очерки византийской культуры », 2.
- 4) Там же, 8-19.
- 5) С.Ф. Платонов, « Статьи », изд. 1912 г., 35.

ОПАСНОСТИ МОНАРХИИ

Проблема, и притом не одна, а целый ряд роковых проблем, начинается для монархического правосознания не здесь, а в вопросе о *пределах* своей верности.

Само собою разумеется, что верность монарху угасает со смертью подданного и переносится со смертью монарха на заранее намеченного и подготовленного субъекта в лице наследника. Этот наследник далеко не всегда бывает и бывал потомком угасшего монарха или его родичем, членом династии. История знает, например, традицию римских императоров, провозглашавших себе наследника — или просто в виде преемника, или в виде усыновления постороннего лица, или же в виде сопровозглашения его в качестве одновременного, но младшего царя (традиция Меровингов).

Во всех этих случаях вопрос сравнительно прост. Осложнения начинаются вот когда :

- 1) когда наследника нет;
- 2) когда монарх не умирает, а отрекается;
- 3) еще бóльшие и трагические затруднения встают тогда, когда монарх при жизни всем своим образом действия нарушает или даже разрушает

в душах подданных доверие к себе, быть может все еще продолжая требовать от них верности.

Первые два случая высоко казуистичны: решение их возможно только в каждом отдельном случае в зависимости от сложившихся обстоятельств; и мы видим в истории, какие последствия могут наступать при отсутствии или при спорности законного наследника — когда целые народы годами борются с явлениями спорности прав, самозванчества, новоизбрания, столкновения претендентов, борьбы между династиями.

Все эти явления вследствие их казуистичности и вследствие того, что они не касаются нашей основной проблемы — «монархии-республики», — я оставляю в стороне.

Что же касается вопроса о законных пределах повиновения монарху и тесно связанного с ним трагического вопроса о цареубийстве, — то здесь мы как раз имеем ту сферу, в которой монархическое правосознание и республиканское правосознание сплетаются и смешиваются.

Это есть специально область соблазнов и *искушений* для монархического правосознания; и если оно не справляется с ними, то оно переживает своеобразное крушение и перерождение, на котором необходимо остановиться.

**
*

Исследуя те свойства и черты, которые отличают монархическое правосознание от республиканского, мы установили, что

1) монархическому правосознанию присуще доверять главе государства (пафос доверия), а республиканскому правосознанию присуще искать и

устанавливать в законах и в учреждениях гарантии против главы государства (пафос гарантии); и далее, что

2) монархическому правосознанию присуще питать верность к главе государства, даже до смерти, а республиканскому правосознанию этот пафос верности *не* присущ; напротив, республиканское правосознание обеспечивает себе по отношению к главе государства — независимость, право личной смены, иногда даже запрет переизбрания того же самого лица, право критики, агитации и даже партийной интриги против главы государства. Это есть вера в необходимость и возможность от времени до времени на срок избирать так называемого «наилучшего из равных».

С этим, сказал я, связана для монархического правосознания особого рода сложная и острая проблема, которая совсем не существует или почти не существует для республиканского правосознания. Это есть вопрос о пределах верности подданного монарху.

Для республиканца вопрос прост и ясен: президент, как орган государства, имеет свою, определенную в законах публично-правовую компетенцию: утверждение указов, законов, международных договоров; назначение министров из состава парламентского большинства и т. д.; то, что он совершает в законной форме и в пределах своей компетенции — решает вопросы и связывает соответствующие органы государства; и наконец, ни о какой личной верности граждан президенту, его потомству или его роду не может быть и речи. Такая верность возможна — кто-нибудь может

подать в отставку при окончании срока полномочий президента, отойти вместе с ним от дел, считать *его* врагов *своими* врагами, *его* друзей *своими* друзьями; даже уехать за ним в ссылку. Но все это будет совершенно лишено публично правового значения: это будет делом личной дружбы или семейной преданности, но отнюдь не делом государственной воли, чувства и правосознания. Верность Ласказе, последовавшего за Наполеоном на остров Св. Елены; верность камергусара Струцкого, в объятиях которого скончался Фридрих Великий 1); верность Татищева, Долгорукого, Боткина, Гендриковой и Шнейдер, погибших вместе с семьей Государя Николая II, — все это есть явления или поступки государственного значения, рыцарственные акты публичного правосознания. Различие ясно; и если оно кому-нибудь все-таки не ясно, то это только означает, что он совсем не представляет себе основной природы монархического правосознания.

И вот именно для монархического правосознания, утверждающего себя в *верности* не государственному органу, а *лицу*, живому человеку, его семье и его роду — (именно потому что это *лицо*, и *семья*, и *род* — по природе своей, по крови своей — уже получили и имеют пожизненно государственное призвание, право и обязанность нести власть и бремя верховного государственного органа в этой стране) — для монархического правосознания имеется сложный и трудный вопрос о пределах своей *верности монарху*, о возможном *диспенсировании* (отвязании, угашении) своей обязанности пожизненно служить монарху. Это про-

блема отнюдь не выдуманная, не подсказанная тайным республиканством, не внушенная скрытым бонапартизмом. Вряд-ли кто заподозрит во всем этом преп. Иосифа Волоцкого. Однако и он не только ставил этот вопрос, но и давал ему острое, прямое, недвусмысленное разрешение. Описавши нрав порочного царя, одержимого скверными страстями, грехами и неверием, он договаривает: «Таковий царь не Божий слуга, но диаволь, и не царь, но мучитель; ...и ты убо такового царя или князя да не послушаеши, на нечестие и лукавство приводяща тя, аще мучить, аще смертью претить»... И заключает: «аще подобает служити царем и князем» 2).

Для того чтобы сразу и недвусмысленно поставить этот вопрос, приведу пример из истории Византии. В середине IX века при императоре Михаиле, прозванном Пьяницей, когда государством фактически правил дядя Михаила — Варде, был при дворе шут, взятый из конюхов, известный педераст Василий Кефал. Ловкою интригою он скомпрометировал и устранил Варде, убил его, стал соправителем Михаила, затем убил и его; и *воцарился* 3). Повинно ли монархическое правосознание повиновением такому императору? Повинно ли оно верностью монарху захватчику; монарху изменнику, предавшему своего монарха; монарху, лишенному чести; монарху педерасту и шуту?

Возьмем другой пример. В первом томе своей истории Фукидид рассказывает, как лакедемонский главнокомандующий, а потом и царь, Павсаний, низложенный и изгнанный своими согра-

жданами, предложил персидскому царю Ксерксу предать ему в подчинение (как он дословно выразился) «Спарту и остальную Элладу» — в отместку за неудачу его карьеры на родине. Пусть низложение царя не прекращает верность ему. Но акт предательства, совершенный царем по отношению к родине? Верность монарху сильнее ли верности родине? Царь живет для родины или родина служит царю? Царь есть орган народа и государства — или народ и государство суть объект, созданный для удовлетворения стремления монарха к власти?

Тем самым мы подошли к проблеме *тирана*. Слово опошленное, скомпрометированное от тех злоупотреблений, которым его вот уже несколько тысяч лет подвергают республиканцы. И тем не менее — не только не потерявшее своего смысла для монархиста, но обозначающее одну из самых трудных и роковых проблем. Тиран и тирания не выдумка республиканцев, а реальность и притом трагическая реальность. Тиран есть монарх, не стоящий на высоте своего призвания; и более того — извращающий свое призвание, свою национально-политическую функцию и тем подрывающий монархическое правосознание в своем народе и монархическую форму своего государства.

Позвольте привести вам кое-что из собранных мною по этому вопросу материалов. *Аристотель* пишет: «Тиран стремится к осуществлению трех целей: 1. вселить малодушное настроение в своих подданных, 2. поселить в своих подданных взаимное недоверие, 3. лишить подданных политической энергии» 4). Все три стремления как раз

обратны тому, к чему призван монарх. *Фюстель де Куланж* характеризует деятельность греческих и римских тиранов: «Тираны везде с большею или меньшею жестокостью вели одну и ту же политику. Один коринфский тиран просил однажды у тирана милетского — совета относительно управления. Последний вместо ответа срезал все хлебные колосья, превышавшие своим ростом прочих. Таким образом, правилом их поведения было рубить головы, поднимавшиеся чересчур высоко, и опираясь на народ, наносить удары аристократии». Для народа же тиран был орудием борьбы с высшими слоями, с аристократией: «Тиран являлся вследствие необходимости борьбы; потом за ним оставляли власть из признательности или по необходимости; но как только проходило несколько лет и воспоминание о тягостной олигархии забывалось, тиран обыкновенно свергался» 5). В другом месте своей книги *Фюстель де Куланж* отмечает у Тиранов вечный страх, жажду мести, готовность ко всякой конфискации и потакание низменным инстинктам толпы. *Аристотель* поясняет еще по существу: «Тиран не обращает никакого внимания на общественные интересы, а имеет в виду исключительно лишь свою личную выгоду» 6). Ему выгодно «вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу чужими друг другу, так как взаимное общение способствует образованию солидарности» 7). «Цари получают охрану своей власти от граждан, а тираны должны охранять себя против граждан» 8). «Тиран должен держать шпионов или подслушивателей: в страхе

перед такого рода лицами подданные отвыкают свободно обмениваться мыслями, а если и станут говорить свободно, то скрыть им свои речи трудно » 9). « Тираны любят все дурное в людях; когда им льстят, они этому рады; а льстить разве станет какой-нибудь свободно-мыслящий человек ? ».

Позвольте пополнить этот замечательный политический рисунок еще следующими ссылками :

Фукидид пишет : « Все тираны, бывшие в эллинских государствах, обращали свои заботы исключительно на свои интересы, на безопасность своей личности и на возвеличение своего дома. Поэтому при управлении государством они преимущественно, насколько возможно, озабочены были принятием мер собственной безопасности ». *Де-ла Бозси* пишет, что к тирану всегда собираются тиранята — люди алчные — негодяи. *Тацит* рассказывает, что при Нероне « добродетель влекла за собою смертный приговор ». *Фихте Старший* определяет сущность тирании так : « нравственное унижение подчиненных становится орудием господства ». Русский нравоучительный памятник XVI века « *Наказание князьям* » пишет : « царю неправедну — все слуги под ним беззаконны суть ». *Цицерон*, с искренним умилением отзывающийся о патриархальной царской власти, рассказывает о Юлии Цезаре следующее : « в лагере Цезаря находятся одни только бесчестные люди, которые либо боятся за свое прошлое, либо питают преступные надежды на будущее ». « Нет такого негодяя в Италии, который не был бы с ним ». Это объясняется тем, что Цезарь не убеждал своих сторонников — « он употреблял более

простые надежные доводы — он платил». Он организовал обширную систему подкупа. Средства для этого доставила ему Галлия. Он ограбил ее так же энергично, как и покорил. Являвшиеся к нему никогда не уходили от него с пустыми руками; он не пренебрегал даже тем, чтобы делать подарки рабам и вольноотпущенным, если те имели влияние на своих господ. Торг открывался и вельможи являлись к нему один за другим, дожидаясь своей очереди. Однажды в Лукке их явилось сразу такое множество, что в зале было насчитано двести сенаторов, а у входа 120 ликторов. Историк комментирует это так: «у господина нет недостатка в прихвостнях и Цезарь, хорошо им плативший, имел их более нежели кто-либо; но нам решительно неизвестно, чтобы у него были искренние и преданные друзья, — ни один не остался ему верен » 10).

Худших тиранов знала *Византия* — таков был, например, правивший перед крестовыми походами Император Андроник Комнин, который по словам современного историка, «считал потерянным тот день, когда он не захватил и не ослепил какого-нибудь знатного человека, думая гибелью других упрочить свою власть. Столица жила в постоянной тревоге. Зверство соединялось у него с крайним сладострастием. При этом он постоянно заигрывал с городской чернью, которая однажды свергла его и надругалась над ним » 11).

Подобных тиранов и тиранчиков знала во множестве *Италия* XIV и XV века — не говоря уже о Цезаре Борджиа, так жестоко обманувшем ожидания благородного патриота Макиавелли; и сверх

того — все эти Каструччио-Кастракани, Браччио Мантуанские, Пиччинино, Малатеста Риминийские, Сфорца Миланские и т. д. О первом Сфорца, кондотьере Франческо Сфорца — Макиавелли пишет: «ничто... не удерживало его: ни страх, ни стыд клятвопреступления, потому что он знал... что обманом стыдно лишь потерять, а не выиграть»... Про сына его Галеаццо Сфорца (1466-1476) историк Целлер пишет: «Блеск двора он заменил расточительностью, воинский дух — парадом, правительственный авторитет — тиранией, благоразумие в политике — мелким задором, сдержанность в частной жизни — распущенностью. Он делал не мало смотров, и ни разу не командовал в битве. Любя удовлетворять свои страсти, он еще более любил предавать публичному позору семейную честь своих подданных. Для своих жертв он изобретал истязания гнусные и отталкивающие и при их исполнении присутствовал лично, как художник, желающий судить о достоинстве своего произведения» 12).

Все эти примеры, которые можно было бы умножить без конца, вскрывают достаточно природу тирана: своекорыстие, пренебрежение благом страны, стравливание классов и сословий, искоренение верхнего слоя, заигрывание с чернью, правление террором и т. д. Из этого вы уже видите (мимоходом говоря), что примеры Ленина и Сталина — не единичны в истории; напротив, это типичные тираны, но только с исключительно сильной организацией власти и с коммунистическим направлением политики. Замечательно, что еще в России, особенно после введения НЭПа, мне

приходилось наблюдать, как у людей умных, патриотичных и благородных — опустевшее, заброшенное и поруганное монархическое правосознание пыталось прилепиться мечтою к Ленину — появлялись намеки на его мудрость, пытались свалить с него ответственность за террор, ждали от него оздоровления страны...; я убежден, что простой народ не только по приказу ходил кланяться его разлагающемуся праху; сюда же относится крестьянский говор после указа Сталина от февраля 1930 года — « батюшка Сталин запретил колхозы » и т. д. Словом, тиран есть всегда сходнородный антипод монарха; пусть карикатура на монарха — пусть постыдная обезьяна его — но для монархического правосознания всегда и горе, и искушение, и разочарование, и соблазн.

И прежде всего проблема: вопрос о пределе повиновения? Замечательно, что вопрос этот разрешался в самом христианстве различно. Я приводил вам категорический ответ преп. Иосифа Волоцкого. Вы знаете, наверное, что среди монархомахов — т. е. государе-поражателей — политических мыслителей, считавших цареубийство допустимым и иногда даже обязательным, — имелись *иезуиты* и теоретики, и практики. Наряду с этим, позвольте привести суждение Иоанна Златоуста. Описав тип византийского тирана, его всенародную вредность и общепризнанную неудобноносимость, он заключает: « видя царствующим сурового князя, человекоубийцу, жестокого — не молись, чтобы он был изъят из среды живых, но примиришь с Богом, который может укротить его жестокость. Если же не примиришь-

ся с Богом, он может возбудить других, более жестоких князей ». Отсюда вы видите чрезвычайно сложный характер вопроса и трудность ответа на него. Я лично не думаю, чтобы ответ здесь мог бы быть единообразен и мог бы предусмотреть все случаи и затруднения. Однако некоторые принципиальные указания, как *подходить* к разрешению этого вопроса в конкретных случаях, я думаю, все же дать можно и должно.

1. *Царь существует для страны, для государства, для нации, а не страна для царя.* Власть монарха не высшая, не самодовлеющая цель; служение и верность ему тем более не являются самодовлеющей целью. Верность Павсанию, предающему свою родину — есть не что иное, как соучастие в его предательстве; эту верность можно извинить духовно-слепому рабу — так, как Гусс простил старушке ее вязанку, которую она подложила ему в костер; это эксцесс слепого правосознания, это рабская преданность предателю, лишенная смысла и губящая родину; монархизм, предпочитающий царя родине, при неизбежности выбора — не есть политическая добродетель; он столь же нелеп, как тезис ожесточенного демократа — пусть страна моя станет демократией, хотя бы ценою собственной гибели. Также нелепа верность Василию Кефалу. Царь, извращающий, роняющий, унижающий собственное звание — нуждается со стороны подданных не в повиновении, а в *воспитывающем его неповиновении*. Есть случаи, когда подданный, будучи монархистом, *обязан* дерзать и не повиноваться — не уклоняясь

трусливо, не симулируя повиновение, а открыто и обоснованно отказываясь повиноваться 13).

2. Отсюда второй принцип : повиновение кончается не там, где подданный думает, что он *имеет право* не повиноваться, но там, где он глубоко убежден в том, что неповиновение становится его *священной обязанностью*. Сознание права и сознание обязанности духовно и практически неравноценны вообще в жизни человека; пользование правом есть вопрос усмотрения; осуществление обязанности сопровождается чувством — невозможности (несмения) иначе действовать; поэтому идея обязанности повышает критерий, вызывает более глубокую проверку, приводит в движение последнюю, верную и священную духовную глубину души. Этим я утверждаю, что неповиновение монарху может стать и бывало много раз в истории — обязанностью подданного. Для тех, кто еще сомневается : подданный обязан менять веру по приказу монарха ? значит и поклоняться идолам ? Ни христианин, ни верующий человек (ни один) ни чувствовать, ни думать так не может. Это будет не монархизм, а сервизм, низкопоклонничество, пресмыкательство, раболепство — извращение монархического правосознания и правосознания вообще; поставление человеческого выше Божьего.

Еще добавочный критерий : тот, кто ссылается на свое *право* неповиновения — тот обычно будет склонен уклониться от неприятных последствий этого неповивающегося поступка; ибо за пользование своим *правом* — неприятных последствий не причитается; и тогда это не право, а лишен-

ность или ограниченность права. Но тот, кто ссылается на свою *обязанность* неповиновения, тот имеет столь существенные и сильные мотивы неповиновения, которые обычно ведут его к готовности *стать* за своим поступком, целиком присутствовать в нем и отвечать за него; конечно, за исполнение обязанности, вытекающей из закона — неприятных последствий тоже не полагается; — однако ясно уже, что здесь дело идет не о законе государственном, а о естественно-правовой обязанности.

Вот почему я бы считал правильным формулировать весь вопрос так : *обязанность повиновения монарху всегда остается ограниченной : а именно — ОБЯЗАННОСТЬЮ неповиновения е.му.* Именно здесь начинается тот предел, который отделяет подданного от раба, монархиста от льстеца, монархии от тирании, государева советника от временщика, слугу родины от карьериста. Именно из такого правосознания написанные эти обличительные, превосходные строфы А.К. Толстого :

Вдруг гремят тулумбасы; идет караул,
Гонит палками встречных с дороги;
Едет царь на коне, в зипуне из парчи,
А кругом с топорами идут палачи, —
Его милость собираются тешить,
Там кого-то рубить или вешать.

И во гневе за меч ухватился Поток.
« Что за хан на Руси своеволит ? »
Но вдруг слышит слова : « То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит ! »

И на улице, сколько там было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи —
Все пред ним повалились на брюхи.

Удивляется притче Поток молодой :
« Если князь он, иль царь напоследок,
Что ж метут они землю пред ним бородой ?
Мы честили князей, но не эдак !
Да и полно, уж вправду ли я на Руси ?
От земного нас бога Господь упаси !
Нам Писанием велено строго
Признавать лишь небесного Бога ! »

И потом дальше :

« ...Ведь вчера еще, лежа на брюхе, они
Обожали московского хана,
А сегодня велят мужика обожать !
Мне сдается, такая потребность лежать
То пред тем, то пред этим на брюхе
На вчерашнем основана духе ! »

Итак : если первый принцип устанавливает целевую подчиненность монарха родине, а второй требует обсуждения вопроса о неповиновении как обязанности, а не как права, то ясно уже — что вся постановка вопроса предполагает, в-третьих,

3. исходный пункт в виде настоящего, искреннего и убежденного, *естественно-правового монархического правосознания.*

Для республиканского правосознания вся проблема есть мнимая. Но для полуреспубликанского

правосознания, более или менее тянущего к растворению личного начала в коллективе, живущего пафосом равенства, утилитарными критериями и т. д., — вопрос этот будет всегда разрешаться в сторону *нежелания повиноваться*, в сторону *права* на неповиновение и т. д. Неповиновение монарху будет для республиканца естественным, заурядным умонастроением и волеуправлением; и потому почувствовать и осознать всю остроту и сложность проблемы он не будет в состоянии. Мало того: и монархист, ставя перед собою эту проблему, должен углубляться в сущность своей *правовой совести* или, если угодно — поставить вопрос *не* перед своим положительным правосознанием, но перед *естественным правосознанием*; он не должен ссылаться на традицию, на свои привычки, на свою формально-государственную присягу, на свои вкусы или на логику — все это есть *уклонение* от проблемы, бытовая отписка, попытка разрешить стереометрическую проблему в планиметрических терминах; здесь не может весить и ссылка на свои мистические наклонности, на свое беспредметное умиление при слове царь, на свое нежелание или несмение рассуждать («могу ли сметь свое суждение иметь?»).

Бремя решения остается на самом человеке, на подданном, который в известных случаях жизни *обязан* не повиноваться монарху — и притом *НЕ* вопреки своей присяге, а в исполнение своей *присяги*. Ибо в самом деле: что он присягал *монарху*, *присягавшему* своей стране, или же монарху, оставившему за собою право *изменить* своей стране? Присяга его освобождала его от верности

родине? Присяга его отменяла ли его веру в Бога и служение Богу? Присяга его была ли отречением от своей совести, чести и от своего человеческого достоинства? Присягал ли он повиноваться монарху *против* своей родины, веры, совести, чести и достоинства?

Я могу себе представить такое извращенное, болезненное воззрение, которое будет утверждать, что присяга монархиста заменяет ему родину — веру — совесть — честь — и достоинство. Но это означало бы только, что такой человек совсем не знает, какова природа и в чем значение этих начал; он не понимает, что присяга и монархическое правосознание *покоятся* на этих функциях духа, *вытекают* из них, суть *видоизменение* их, питаются и держатся ими и *теряют без них весь свой смысл*. Это нелепо, бессмысленно, извращенно и губительно — чувствовать, жить и говорить так: родины я не признаю, но монарху своему я верен (тогда это не монарх, а кондотьер — это присяга не царю, а наемному предводителю ландскнехтов, в авантюристическую свиту которого записался присягавший). Или: веры у меня нет, Бога не имею, но религиозный акт клятвы на верность вождю связывает меня. Такой человек не мог присягать — а монарх не мог принять такой присяги; у него нет духовного органа для присяги — ему *ничем* присягнуть — не словами же и не пальцами руки; и как будет религиозно верен человек, который готов менять свою веру по приказу светского владыки? Верить по приказу нельзя; по приказу можно только симулировать веру; верным на смерть можно быть, по-ви-

димому, и из чисто моральных, религиозно безразличных убеждений — но тогда *мораль заменяет веру*, становится верою человека и несет ее функции.

Можно представить себе, что у кого-нибудь от всей веры только и осталась что присяга королю и верность ему — но тогда самая присяга и верность его построены на болоте и напоминают собою пристрастие и идолопоклонство. Нелепо говорить — присяга поглотила мою совесть — ибо это значит признать себя готовым на бессовестные поступки по чужому приказу¹⁴). В виде курьеза или чудовища можно представить себе такого Лепорелло, такого раба в услужении у Цезаря Борджиа, такого Малюту Скуратова или Ваську Грязного — но монархизм ли это? Не унижительный ли сервиллизм? Честь родит и питает присягу — или присяга есть источник чести? Честное слово бесчестного человека? И какая ценность присяги, данной человеком, лишенным чувства собственного достоинства? Словом: присяга предполагает, что человек есть духовное существо и этой духовностью осмысливается и питается; присяга есть проявление естественного правосознания человека и его религиозности — и потому она не может ни поглотить их, ни погасить, ни отменить.

Мне могут еще сказать, что в таком случае у подданного остается как бы право контроля над монархом; что он каждый раз обязан рассматривать приказы монарха с точки зрения своих верований и воззрений; что это есть своего рода «постольку-поскольку»; что этим разрушается вся-

кий порядок и всякая дисциплина; что этаким монархизм хуже республиканства — это анархия. Однако — я подчеркнул, что монархическому правосознанию свойственно прежде всего *доверять* монарху и что именно это *доверие* лежит в основе *верности*. Дело монарха *быть верным* — вере, своей стране, своему призванию, своей совести и чести — и тем поддерживать во всем народе не только доверие к себе, но и самые эти начала в душах своих подданных. То, что я рассматриваю — есть случай патологический или тератологический: монарх духовно и государственно выпадает из своего ритма — что тогда? Беспредельна ли обязанность подданного повиноваться? именно в этом случае; или же он слепо обязан идти за монархом — на бесчестие, бессовестность, предательство, преступление? (например, когда в конце VIII века императрица Византийская Ирина ослепила своего сына императора Константина).

Повторяю, для республиканца по правосознанию — этот вопрос совсем и не стоит; даже тогда, если он является гражданином монархического государства: он своему монарху *уже* не доверяет. Для монархиста — самая *идея* о необходимости недоверять монарху тягостна и противна; наступающая же необходимость — недоверять или неповиноваться вызывает в его душе целую бурю и муку. И бывают случаи, когда он должен разрешать всю эту проблему в сторону неповиновения. Но при соблюдении еще следующих двух правил.

4. Проверить себя, свои мотивы и свое сердце — что он разбирает этот вопрос исходя не из своего личного, или сословного или классового

интереса — ибо этот интерес всегда может нашептать ему *выгодность* неповиновения, или *выгодность* дворцового переворота, или *выгодность революции*; нашептать — и притом (как это часто бывает в неискусной или криводушной совестной работе) замаскировать себя софизмами, неверными наблюдениями, пристрастием в наблюдении и истолковании фактов и т. д.

5. И наконец, пятое условие — это неповиновение монархист должен сам испытывать и осуществлять как единственный и верный путь, ведущий не к разрушению, а к строительству монархии.

Замечательно, что великие монархи нередко умели ценить эти акты протеста и неповиновения (наподобие известного случая Якова Долгорукова, разорвавшего указ Императора Петра). И надо признать, что такое *неповиновение* может блюсти присягу; тогда как лезть, которою обыкновенно окружают монархов, есть уже сама по себе — прямое и сущее нарушение присяги.

Римский сенат в эпоху империи, прославившийся своею лъстивостью — от Траяна и Домициана до Грациана и Феодосия — был явлением не монархическим, а антимонархическим, разлагающим 15). Уже император Август задыхался от этого фимиама лести; и однажды велел снять около 80 пеших и конных серебряных статуй своих, поставленных ему в Риме, перелить их и обратить вырученные деньги на драгоценные приношения в храме Аполлона — от своего имени и от имени жертвователей 16) — желая этим подчеркнуть, что поклонение подобает Богу, а им-

ператору не подобает принимать лесть. Но уже преемники его, даже такие как Траян, принимали эту лесть. Оратор и философ Фемистий пишет о льстецах императора Юлиана: «несчастные игрушки прихоти наших господ, мы поклоняемся их пурпуру, а не Богу и принимаем новый культ с новым царствованием» 17). Князь Щербатов, автор известного трактата об упадке нравов в России (18 век), пишет, что «у вельмож отъялась смелость изъяснять свои мысли, они учинялись не советниками государевыми, а дакальщиками любимцев». Эти люди, «имена которых были славнее их дел», любили уже и сами дакальщиков и охотно окружали себя людьми искательными 18). А La Bruyère отмечает: «il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince: à peine les puis-je reconnaître à leurs visages, leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie: les gens fiers sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur; celui qui est honnête et modeste, s'y soutient mieux, il n'a rien à reformer».

Не трудно понять, почему *лесть нарушает присягу*. Являясь по внешности ярким проявлением преданности, почтения и верности — лесть внушает монарху, что он *лично, как он есть, не имеет надобности строить, воспитывать, очищать и укреплять свою душу*; он якобы уже достиг совершенства; божественно-ноуменальная часть его существа, в которую верит монархическое правосознание, якобы уже достигла такой власти и цельности и так поглотила его эмпирически-личную грешную душу — что он имеет право считать себя совершенством 19). Этим лесть ослепляет

самочувствие монарха, угашает его бдительность и трезвение, притупляет его внутреннюю самокритику, избаловывает его морально, развращает его волю к самосовершенствованию; а так как монарх есть прежде всего орган своего народа, орган его инстинкта, его молитвы, его судьбы, орган служащий его духу посредством власти над его жизнью и телом — то такие льстецы и угождатели, такие « дакальщики » являются настоящими вредителями своего народа. Если же принять во внимание, что большинство этих людей действует не от глупого обожания, а от хитрого своекорыстия, то низость и вредность их станет совершенно ясной. Такие люди разложили дух и скомпрометировали не одного монарха и довели до крушения не один монархический режим. История монархии полна примеров такого вредительства; и монарх, не умеющий удалять таких людей — рано или поздно станет сам их жертвою и отдаст свою страну на растерзание. Льстивость есть порок и извращение монархического правосознания. Лесть есть скрытая, внутренняя язва монархического строя.

Но было бы напрасно думать, что в основе этого порока и этой опасности лежит всегда грубое своекорыстие. Лесть нередко рождается из того своеобразного монархического бессмыслия и безъидейности, которые господствуют в душе у монархистов : люди не чувствуют художественно, не прозревают нравственно, не понимают умственно — в чем состоит то внутреннее делание, которое характеризует и отличает монархическое правосознание от республиканского; то внутреннее дела-

ние, которое обязательно для каждого монархиста. Ибо большинство монархистов воображает, что быть монархистом это значит считать, что лучше царь, чем республика — и затем исполнять, что царь прикажет, стараясь ему угодить и опасаясь навлечь на себя его немилость. Между тем на самом деле — одна из первых обязанностей монархиста состоит нередко в том, чтобы *не опасаться той немилости*, которую ему вероятно придется рано или поздно навлечь на себя. Если подданный призван «угождать» монарху, то только и исключительно ноуменальному существу его; а это ноуменальное существо монарха нередко стоит в прямом и остром расхождении с эмпирически-личным укладом, характером, нравом монарха, с его страстями, прихотями и капризами. Окружение царя нередко этого не понимает, совершенно не понимает: берут человека, как он есть, и начинают ему угождать. При этом — угождать нередко для того, чтобы привлечь его, подчинить его, завладеть им, сделать его своим орудием; или, точно выражаясь — *оставить ему видимость власти, а самую власть похитить у него и присвоить ее себе*.

Льстецы нередко подобны ворам, вкрадывающимся в доверие для того, чтобы ограбить; или шулерам — которые обыгрывают фальшивыми картами. Можно было бы сказать, что в каждом льстеце скрыт более или менее *способный и хищный временщик*; и вряд ли найдется временщик, который, пробираясь к власти, обошелся бы без лестии. Это ступени единой лестницы — льстец — фаворит — временщик; ибо фаворит есть пре-

успевший в своей вкрадчивости льстец, а временщик есть преуспевший в своем властолюбии фаворит.

Мы наблюдаем здесь замечательное явление, присущее всем государственным формам — и монархическим, и республиканским, но тем и другим по особому: вокруг верховной власти, как таковой, происходит все время некоторая *давка и толкотня*, суетливое вращение; подобно игре в большой мяч, вокруг которого все толпятся, стараясь дать ему толчок посильнее. Иногда поднимается целая волна честолюбия и властолюбия. (Это далеко не одно и то же — честолюбец часто неспособен к власти и не призван властвовать, а властолюбец нередко презирает почести.) Когда эта волна поднимается, достигает известной страстности и бурности — то создается иногда что-то вроде гражданской войны в зародыше, иногда что-то напоминающее ходынку или хлыстовское радение. Эта толкотня и суетня выражается в республиках в форме более крикливой, механизированной, открытой, откровенной, как бы самосознательной интриги, интригующей над множеством; в монархии эта толкотня приобретает формы более прикровенные, но именно поэтому может быть более ядовитые и опасные: здесь не кричат, а шепчут; не ругают, а восхваляют, льстят; интригуют, стараясь замаскировать свою интригу; интригуют не над имперсональным множеством, а над определенной, высокопоставленной личностью. И от времени до времени над этим закулисным шепотом, из этой льстивой пау-

тины — иногда стремительно, чаще медленно и постепенно — поднимается фигура временщика.

Но проблема временщика теснейшим образом связана с проблемой автономного монарха и не может быть разрешена помимо ее. Монарх автономен, т. е. самозаконен, самостоятелен на престоле тогда, когда воля его в своих решениях зависит в конечном счете от предметных источников его религиозности, его правосознания и его самостоятельного государственно-политического видения. Иными словами, когда он *слушается* Бога и своей государственной совести, а других людей только *выслушивает*. Монарх утрачивает свою автономию тогда, когда он позволяет стать между государственным делом и своим решением другому человеку или другим людям, искажающим его волю или навязывающим ему свои воззрения и решения.

История указывает семь таких типических возможностей, которые требуют особого внимания и анализа: когда монарх оказывается в зависимости — 1. от других членов династии, 2. от женщины или женщин (любовницы), 3. от войска (преторианцы), 4. от деньгодателей и банкиров, 5. от придворных партий и камарильи, 6. от духовенства, 7. от временщика. Понятно, что судьбы монарха и монархии слагаются каждый раз по особому, по-своему — смотря по тому, кто подчиняет себе его волю и в зависимости от каких людей, групп и сил он оказывается. Одно ясно: что на всех этих путях монархия сталкивается с особыми, ей присущими опасностями и идет по неверным, больным путям.

И еще одно : *верность монарху* — а для нас это сегодня самое существенное — состоит не в том, чтобы угождать ему, слепо и угодливо пресмыкаясь, а в том, чтобы за совесть и бескорыстно *помогать ему сохранить свою автономию*. Верность монарху есть верность автономному монарху и потому прежде всего *автономии монарха*. И для соблюдения этой верности — есть свои особые пути, средства и правила (....)

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Задыхаясь от удущья Фридрих Великий не мог уже ни лежать, ни сидеть в кресле; Струцкий, стоя на одном колене, посадил умирающего императора на другое, держа его за спину и охваченный рукой Фридриха за шею, — и так держал его, облегчая ему муку, два часа подряд, пока король не умер (Карлейль, «Friedrich», 526).

2) «Просветитель», Слово Четвертое.

3) Безобразов, «Очерки», 15-18.

4) «Политика», V, 9, 8-9.

5) «Cité antique», 260.

6) «Политика», V, 8, 6.

7) Там же, V, 9, 2.

8) Там же, III, 9, 4.

9) Там же, V, 9, 3.

10) Буасье, «Цицерон», 27, 157, 168, 171.

11) Безобразов, 4-7.

12) Ардашев, 35.

13) У графа А.К. Толстого — Дружина Морозов и Репнин, правдивый князь.

14) Венецианский посол при дворе французского короля Франциска I пишет : «Отныне королевская власть — все, даже в деле правосудия : никто не осмелился бы слушаться своей совести, если бы для этого пришлось послушаться своего государя» (Ардашев, 108).

15) См. Буасье, «Падение язычества», 347-8.

16) См. Герье, «Август», 464.

17) Буасье, « Падение язычества », 90.

18) Лесков, « Захудалый род », ч. II, гл. 4.

19) Были льстецы, которые уверяли, например, Императрицу Екатерину II, что она « премудрее самого Господа Бога », и Ключевский осуждает ее за то, что она не приказывала выталкивать таких министров (Ключевский, « Очерки », 315).

Н.П. Полторацкий

МОНАРХИЯ И РЕСПУБЛИКА В ВОСПРИЯТИИ И.А. ИЛЬИНА

Профессор Иван Александрович Ильин был одним из наиболее ярких представителей русской религиозной мысли первой половины XX века. Его академическая и общественно-политическая деятельность и его многочисленные печатные труды относятся к нескольким областям культуры и жизни. Но по основной своей университетской подготовке он был более всего ученым юристом, философом права. И одной из главных проблем, занимавших его всю жизнь, была проблема государственной формы, в особенности формы верховной власти. Окончательным плодом этих занятий, растянувшихся на несколько десятков лет, стало исследование Ильина «О монархии».

I. ИССЛЕДОВАНИЕ «О МОНАРХИИ»

1. Основные этапы работы

И.А. Ильин родился в Москве 28 марта 1883 года. В 1906 году окончил Московский универси-

тет и был оставлен при нем проф. П.И.Новгородцевым для подготовки к профессорскому званию по кафедре энциклопедии права и истории философии права. В этот период своей жизни, в январе 1909 года, Ильин начал работу над проблемой государственной власти. Это было время, когда — после первой русской революции 1905-1907 гг. — стало возрождаться русское национальное и государственное самосознание. Любопытно отметить, что именно тогда, в марте 1909 года, в Москве вышел знаменитый сборник «Вехи», в котором представители более старшего поколения радикально-либеральной русской интеллигенции (главное ядро авторов составляли бывшие марксисты П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и С.Л. Франк) окончательно порывали со своим интеллигентским прошлым и подвергали уничтожающей критике традиционную психологию и идеологию русской кружковой интеллигенции. Этому направлению русской мысли и воли тогда, однако, не суждено было до конца оформиться и утвердиться, и идейная и политическая встреча его вождя П.Б. Струве и шедшего своим собственным путем И.А. Ильина произошла гораздо позже, главным образом уже в эмиграции.

Наступившие вскоре Первая мировая война, революция и гражданская война на время прервали работу Ильина над вопросами государственной формы. Но эти исторические события, в водовороте которых рухнула Императорская Россия и утвердилась — в форме демократической республики — коммунистическая диктатура, не только не упразднили, но, напротив, обострили для

Ильина самую проблему монархии и республики.

Осенью 1922 года Ильин, вместе с рядом других выдающихся русских ученых и литераторов, был — после очередного (шестого) ареста — выслан большевиками из России и обосновался в Берлине, где стал преподавать в Русском Научном институте. Уже через несколько месяцев, в феврале 1923 года, Ильин возвращается к своей работе над интересующим его вопросом. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в специальном блокноте Ильина под заглавием «О монархии» 1). Два года спустя, в 1925 году, Ильин подготовил особую библиографическую подборку «Литература о монархии» 2). Это был важный в истории русской эмиграции год: процесс идейно-политической дифференциации достиг значительной остроты, и в Париже начала выходить редактируемая П.Б. Струве и издаваемая А.О. Гукасовым газета «Возрождение», ставшая органом основной массы национально-мыслящей русской эмиграции, в значительной степени воинской. В апреле 1926 года в Париже состоялся Российский Зарубежный съезд, на котором выступил с речью и проф. Ильин. Возник вопрос об отношении к Вел. Кн. Николаю Николаевичу, которому было послано «Приветствие», подписанное от имени 96 членов съезда А.О. Гукасовым, И.А. Ильиным и Н.К. Кульманом. 9 мая 1926 года в «Возрождении» появилась статья Ильина «Республика-монархия». В феврале 1927 года блокнот Ильина «О монархии» пополнился новыми заметками. В архиве Ильина сохранились также «Тезисы и прения по докладу О монархии», прочитанному

Ильиным во Внепартийном национальном объединении в Берлине 3). В прениях выступали В.Н. Строев, А.А. Овчинников, Н.И. Глобычев, Я.С. Прохоров, А.А. фон Лампе, А.А. Давидов. Тогда же, в одной из белых воинских организаций в Праге, Ильин сделал сообщение на тему « Проблема государственной формы » 4).

Итогом этой двадцатилетней подготовительной работы Ильина над вопросом государственной власти стали его курсовые лекции « Понятия монархии и республики » 5), которые он читал в Русском Научном институте в Берлине в 1929/30 академическом году. В декабре 1929 г. были прочитаны три лекции, в мае 1930 г. — две, каждая из них по два часа.

Прочитав свой институтский курс, Ильин, видимо, пришел к выводу, что предварительная работа над этим вопросом для него закончена и он уже в той стадии, когда может приступить к окончательной обработке и пополнению накопленного материала и к писанию специальной книги « О монархии ». Для этого ему нужно было иметь два года свободного времени, при минимальной материальной обеспеченности. Возникает мысль об обращении к итальянскому королю — через В.И. Гурко. Писем по этому поводу в архиве Ильина, к сожалению, не сохранилось, но уцелел проект письма к королю и сжатое изложение основ задуманной книги 6), которые дают о ней четкое представление. Очевидно, однако, что из этого проекта ничего не получилось.

Все же, на тридцатые годы приходится несколько важных публичных устных и печатных

выступлений Ильина в русской зарубежной среде, из которых упомянем хотя бы следующие. 29 апреля 1931 г. Российское центральное объединение (Р.Ц.О.) в Париже устроило публичное собрание, посвященное докладу Ильина на тему « О монархическом и республиканском правлении ». 25 августа 1931 г. в « Возрождении » была опубликована статья Ильина « Мы не предрешаем », в которой были сформулированы все главные положения его идейно-политической позиции в вопросе о государственной форме. 3 и 8 января 1935 г. в « Возрождении » же была напечатана публичная речь Ильина « О монархе », посвященная королю Александру Югославскому, которую Ильин перед тем трижды произнес в Белграде.

Но в целом тридцатые годы были в работе Ильина над этой темой не столь продуктивными, как двадцатые. В значительной степени причиной тому внешние политические и жизненные обстоятельства. После прихода Гитлера к власти Ильин был удален национал-социалистами из Русского Научного института, на него было обращено особое внимание Гестапо и, позднее, ему были запрещены все публичные печатные и устные выступления.

В 1938 году Ильину удалось выбраться в Швейцарию, — чтобы в 55-летнем возрасте начать новую, далеко не легкую жизнь. Но и в этих условиях Ильин неоднократно возвращался к работе над вопросом о монархии и республике, — о чем свидетельствуют, в частности, его двухтомные « Наши задачи ». Все же, оглядываясь десять лет спустя, в 1948 году, в письме к своему другу И.С.

Шмелеву, на пройденный им путь, на многое уже осуществленное, Ильин беспокоится и о том, что ему еще только предстоит сделать. Среди незавершенных трудов он называет и свою давно задуманную книгу о монархии. На самом склоне лет, летом 1952 года, Ильину, несмотря на плохое состояние здоровья и загруженность делами, удается основательно продвинуться в своей работе над исследованием «О монархии». Он продолжал эту работу и в 1953 году, но сил становилось все меньше. 21 декабря 1954 года Ильин умер и один из главных трудов его жизни, начатый за 46 лет перед тем, остался формально не законченным. Но и в таком виде это его исследование представляет очень значительный интерес и ценность.

Чтобы правильно воспринять труд Ильина «О монархии», полезно остановиться на первоначальном замысле, окончательном плане, тематике и общем подходе Ильина к проблеме монархии и республики.

2. План, тематика и общий подход

Сопоставление текстов 50-х годов с текстами 30-х позволяет заключить, что первоначальный замысел и план исследования несколько отличался от окончательного.

1) *Первоначальный замысел.* О том, как представлял себе свою задачу Ильин в 30-х годах, лучше всего судить, исходя из уже упоминавшихся нами двух документов того времени: проекта письма к итальянскому королю и сжатого изложения основ задуманной книги, которое должно

было быть представлено одновременно с письмом.

Как человек верный « великим монархическим традициям и историческим святыням », Ильин считал своим долгом бороться за монархическую идею. Мы должны, писал Ильин в проекте своего письма, утвердить « великую историческую роль » монархической идеи, « ее священное, жизненное и творческое значение », должны « создать и выдвинуть *апологию монархического начала* » 7). В приложении к этому письму, озаглавленном « *Общий характер и содержание (задуманной книги "О монархии")* », Ильин полностью раскрывает этот общий замысел книги. Давая апологию монархического начала, пишет Ильин, книга должна « показать его религиозную глубину, его нравственные преимущества, его художественную красоту и его государственно-патриотическую силу. Книга должна использовать классический и драгоценный материал всех главнейших исторических народов; но решающая точка зрения останется христианскою. Книга должна сочетать силу научной мысли и доказательности с ясностью, простотою и изяществом изложения. Тон ее не должен быть ненавистным по отношению к республике; однако он будет недвусмысленно-правдивым; честный республиканец по прочтении этой книги должен почувствовать не обиду, а справедливость автора и желание пересмотреть свою политическую установку. Тон книги должен быть благородным, рыцарственно-корректным и в то же время не чуждым настоящего величия и пафоса. Книга должна оставаться на уровне высокой историко-философической идеологии, и не должна трактовать ди-

настические вопросы отдельных стран. Она должна быть надпартийна, объединительна, углубляющая, очистительна; — как бы классическим настольным сочинением для монархиста, и для грядущих поколений » 8). Этот общий замысел и подход Ильина остался для него в полной силе и двадцать лет спустя, когда он в 50-х годах подготавливал окончательный текст своего исследования « О монархии ». Но первоначальный *план* книги был несколько иным.

Книга должна была состоять из двух частей и краткого заключения. В первой части, аналитической, Ильин исходил из того, что « Современная формальная юриспруденция не постигает сущности монархии и не умеет отличить ее от республиканской формы правления »; что « Для того, чтобы постигнуть сущность монархии, необходимо исследовать не конституционные законы, а монархический *душевный уклад* и монархическое *правосознание* в отличие от республиканского »; и что « Такое исследование, доселе не выполненное, обнаруживает, что для монархического правосознания существенны такие восприятия, потребности и тяготения, которые чужды республиканскому духу » 9). После этого Ильин выделял семь главных отличий монархического правосознания от республиканского: 1) олицетворение народа, государства и власти в монархе — растворение личного начала и власти в республиканском коллективе; 2) культ начала верного и справедливого ранга — культ начала уравнивания и равенства; 3) религиозно-мистическое созерцание верховной власти — утилитарно-рассудочное вос-

приятие власти; 4) созерцание природы и судьбы как ведомых Провидением — поставление человеческого произволения выше судьбы и природы; 5) восприятие государства в качестве великой семьи, спаянной кровью и предками — отношение к государству как историческому конгломерату договорившихся индивидуумов; 6) пафос доверия к главе государства — поиски гарантий против главы государства; 7) пафос верности природному монарху — пафос избрания того, кто республиканцу удобен или угоден 10). Вслед за этими семью основными отличиями монархического правосознания от республиканского должен был следовать систематический анализ пятнадцати других отличий. В последнем разделе первой части Ильин собирался подчеркнуть зависимость процветания и самого бытия монархии от наличия в стране верного монархического правосознания. Главный недостаток республиканской формы он видел в том, что в основе ее лежит пафос отрицания вечных и последних религиозно-органических основ народного правосознания. И в то время как республиканцы отвергают преимущества монархического уклада души, в монархический уклад, когда он на высоте, вполне могут вместиться и все достоинства республиканизма. Так, например, « монарх отнюдь не противостоит народу, но живет в сердце и в воле каждого из своих подданных; монархия отнюдь не идет против справедливости равенства людей; монархия отнюдь не пренебрегает земною пользою; монархия отнюдь не насаждает безволия и бесхарактерности, наоборот, и т. д. » 11).

Во второй, синтетической, части своей книги Ильин намеревался показать как воспринимает настоящий верноподданный своего государя («силою любви, верности ему, веры в него, служения ему; силою правдивого слова, совестного совета, волевого повиновения, ответственности»); как «воспитывается, углубляется и облагораживается душа верноподданного» от правильного восприятия монарха; в чем состоит «самоотверженное, героическое и мученическое служение монарха»; в чем состоит государственное, сверхклассовое и не связанное ни с каким отдельным поколением призвание монарха; в чем состоит великий принцип «монархии Божией Милостью»; в чем состоит «религиозная, патриотическая, нравственная и художественная связь монарха с его народом и народа с его монархом» 12). В заключении ко всей книге Ильин должен был раскрыть идею монархии как бессмертную и священную идею в истории человечества.

Все эти положения 30-х годов остались для Ильина в полной силе также и в 50-х, но самый план книги был, по мере работы над нею, значительно видоизменен.

2) *Окончательный план и тематика.* Из хранящегося в архиве проф. Ильина «Оглавления» 13) его труда «О монархии» следует, что в готовом виде труд этот должен был состоять из введения и четырех частей, разбитых на главы со сплошной нумерацией — общим числом двенадцать.

В введении к книге Ильин анализирует те затруднения, которые возникают при исследовании вопроса о монархии. В первой части, состоящей

из двух глав, Ильин останавливается на формальных чертах монархии и ставит проблему монархического правосознания.

Во вторую часть входит пять глав, каждая из которых названа « Основные предпочтения » (под номерами 1-5), и в них разбираются главные компоненты монархического правосознания: олицетворение, религиозное освящение; идея Провидения, семья и род, начало ранга, начало традиции, доверие, любовь и верность; начало достоинства и чести, художественное отождествление с монархом, правдоговoreние, центростремительность, лояльность, ответственность. Последний, пятый раздел « основных предпочтений » (по плану, глава седьмая) у Ильина в оглавлении не расчленен, но из содержания главы ясно, что в ней речь идет о таких дальнейших компонентах монархического правосознания, как орденские девизы, воля к служению, аскеза политической силы суждения, дисциплина и субординация, властная опека и национальная аккумуляция.

В третьей части значатся три главы (восьмая-десятая), посвященные, соответственно, основным заданиям монарха, внутреннему деланию монарха и его качествам, и подданному в монархии, его положению, задачам и деланию.

Последняя, четвертая часть включает всего две главы, одиннадцатую и двенадцатую. Первая из них посвящена опасностям монархии, связанным с лестью, временщиком, самозванцем, браком и наследником династии; вторая — переходу монархии в республику и республики в монархию.

Ильин успел полностью закончить и набело пе-

реписать введение и первые семь глав, составляющие части первую и вторую. Однако он точно указал также те страницы рукописи его берлинского курса «Понятия монархии и республики», которые должны были войти в третью часть (главы восемь и девять: «Основные задания монарха» и «Внутреннее делание его [монарха] и качества») и в четвертую часть исследования (глава одиннадцатая — «Опасности монархии»). Нет указаний на прямо относящиеся к этому исследованию тексты только для двух глав — одной в третьей части (глава десятая — «Подданный в монархии, его положение, задачи, делание») и одной в четвертой части (глава двенадцатая, последняя — «Монархия в республику и обратно»). Таким образом, если к законченным главам добавить соответствующие страницы из берлинских лекций, то можно будет считать, что и этот труд проф. Ильина был им в значительной степени вчерне подготовлен. Такой вывод становится еще убедительнее, если принять во внимание целый ряд статей, касающихся вопроса о монархии и республике, которые Ильин опубликовал в повременной печати и в «Наших задачах». О них нам еще придется говорить дальше. Пока же, к тому, что уже было сказано об общем замысле, плане и тематике исследования Ильина «О монархии», полезно подойти, исходя из еще одного документа, сохранившегося в архиве Ильина.

3) *Общий подход и идеи Ильина.* Из сказанного до сих пор ясно, что своеобразие Ильина в его подходе к проблеме монархии заключается, во-первых, в том, что для него эта проблема решает-

ся всегда в связи с проблемой республики, и во-вторых, в том, что, будучи сам ученым юристом, Ильин отрицает возможность решения относящихся сюда вопросов на путях исключительно формальных, юридических. В центре для него даже не юридические или исторические явления (хотя их он тоже тщательно и добросовестно исследует), а явления порядка психологического, духовного и идейного. Ильин противопоставляет не столько монархию республике, сколько монархическое правосознание республиканскому правосознанию, ибо именно в правосознании видит настоящий ключ к решению всей проблемы.

В архиве Ильина хранится листок с его заметками, который особенно наглядно выражает общий подход Ильина к поставленной им себе исследовательской задаче и суммирует его основные идеи. Листок этот озаглавлен «План для окончания мысли» 14), разлинеен горизонтально и разделен посередине вертикальной чертой. В левой половине перечислены главные особенности монархического правосознания, в правой — республиканского. Ильин пронумеровал свой первоначальный список, и у него получилось 17 противопоставляемых особенностей этих двух правосознаний. Очевидно уже после того, как список был составлен, Ильин добавил еще три противопоставления 15). В результате получилась подытоживающая таблица из следующих двадцати противопоставлений (с заменой, по техническим причинам, вертикальной черты двойным тире):

*Монархическое
правосознание*

*Республиканское
правосознание*

- | | |
|--|---|
| 1. олицетворение власти и государства-народа | — растворение личного начала и власти в коллективе |
| 2. культ ранга | — культ равенства |
| 3. мистическое созерцание верховной власти | — утилитарно - рассудочное восприятие власти |
| 4. приятие судьбы и природы, ведомых Провидением | — человеческое изволение выше судьбы и природы |
| 5. государство есть семья — патриархальность и фамилиарность | — государство есть свободный равный конгломерат, уравнительное все-смещение |
| 6. пафос доверия к главе государства | — пафос гарантии против главы государства |
| 7. пафос верности | — пафос избрания угодного « ребус сик стандибус » |
| 8. центростремительность | — центробежность |
| 9. тяга к интегрирующей аккумуляции | — тяга к дифференцированной дискретности, атомизму |
| 10. культ чести | — культ независимости |
| 11. заслуги служения | — культ личного успеха, карьеры |
| 12. стихия солидарности | — стихия конкуренции |
| 13. органическое восприятие государственности | — механическое восприятие государственности |
| 14. культ традиции | — культ новаторства |
| 15. аскеза политической силы суждения | — притязательность политической силы суждения |
| 16. культ дисциплины, армия | — личное согласие, инициатива, добровольчество |
| 17. гетерономия, авторитет | — автономия, отвержение авторитетов |
| 18. пафос закона, законности | — пафос договора, договорности |
| 19. субординация, назначение | — координация, выборы |
| 20. государство есть учреждение | — государство есть корпорация 16). |

В своем « Плане для окончания мысли » Ильин поставил красные кресты посередине между первыми семью пунктами и провел черную черту (тоже посередине) после седьмого пункта. Это свидетельствует о том, что в то время, когда Ильин ставил эти кресты и проводил черту, он считал свою работу над первыми семью пунктами законченной. К сожалению, на листке нет никакой даты. Однако сопоставление первых семи пунктов « Плана » с позднейшим « Оглавлением » книги и с окончательным текстом первых ее семи глав приводит к выводу, что между пунктами и главами прямой количественной и порядковой корреляции нет. В пяти главах белой рукописи (часть II, главы 3-7) проанализированы не семь, а по крайней мере пятнадцать из двадцати пунктов существенных отличий монархического правосознания от республиканского, намеченных в « Плане ». Вне специального обстоятельного рассмотрения остались лишь особенности монархического правосознания, связанные со стихией солидарности, органическим восприятием государственности, гетерономией и авторитетом, пафосом закона и законности, отношением к государству как к учреждению — и противостоящие им особенности республиканского правосознания, связанные со стихией конкуренции, механическим восприятием государственности, автономией и отвержением авторитетов, пафосом договора и договоренности, и отношением к государству как к корпорации. Но подавляющее большинство противопоставлений Ильиным, таким образом, разобрано — в той части его исследования, которую он считал готовой к печати.

3. Речь « О монархе » и статьи « О Государе »

Говоря о генезисе и окончательных идеях исследования Ильина о монархии, следует отметить особое место, которое в идейном наследии Ильина занимают, наряду с главами « О монархии » и некоторыми разделами из берлинских лекций « Понятия монархии и республики », также речь Ильина « О монархе » и его серия статей « О Государе ». Сходные по заглавию, эти речь и статьи выражают то понимание облика и призвания истинного Государя и истинного монархиста, которое Ильин вынашивал в себе несколько десятилетий.

Речь Ильина « О монархе » явилась его откликом на убийство (в октябре 1934 г.) короля Югославского Александра I, которого Ильин ставил очень высоко. Речь эта была трижды публично произнесена в Белграде и затем напечатана в газете « Возрождение » 17).

В речи мы находим ряд общих положений, вошедших потом и в окончательный текст книги « О монархии ». Так, например, Ильин утверждает, что современная формальная наука государственного права не в состоянии постигнуть сущность монархии, ибо ни юридический анализ писанных конституций, ни историческая регистрация внешних политических событий, с которыми эта наука имеет дело, сами по себе еще ничего в существе монархии не раскрывают. Природа монархии не исчерпывается формальными признаками наследственности, пожизненности и ответственности единоличного главы государства.

« Все эти признаки могут быть налицо, а в действительности будет лишь поверхностная видимость монархии; и наоборот, признаки эти могут отсутствовать, а монархический строй будет слагаться и крепнуть в стране ». Ибо самое важное заключается не в законах и их внешних проявлениях, а в *живом правосознании*, скрытом за формой и за поступками людей, — в том, что именно происходит в душе главы государства и в душах его подданных.

Настоящая монархия, говорил Ильин, существует только тогда, когда в душах людей живет особенное *внутреннее отношение* к государю, а в душе государя — к его подданным. Чтобы *иметь государя*, его надо любить, « чувствовать в нем *благую, добрую силу*, которая хочет своему народу добра и которая живет только ради этого добра ». Государь *служит* своему народу тем, что *властвует*. Он всегда « *мученик своего служения*, мученик трона, страдалец своего призвания и служения », и все его « *преимущества* » исчезают в этом неутомимом служении. Любить своего государя « значит не только воспринимать его как *благую, ведущую и спасительную личную силу*, но и быть готовым беззаветно служить ему до конца » и связать себя с ним « *своею политической волею и своею силою воображения* ». Подлинный монархист « через свою любовь к государю сам *возвышается до царственного образа мыслей* », благородства и рыцарственности: он не раб, не льстец и не карьерист. *Любовь к царю, доверие к нему, уважение к нему, вера в него, воля к повиновению ему, готовность умереть за*

него — создают ту силу, которая «объединяет людей не только с государем, но и друг с другом; и так возникает та изумительная спайка народа, которая непонятна и недоступна людям республиканского образа мыслей».

То обстоятельство, продолжает Ильин, что истинный монархист носит в своем сердце образ идеального правителя, молитвенно предстоящего Творцу, образ государя, каким он призван быть, живой идеал национального вождя, вовсе не есть обожание или обожествление государя. «Но монархист признает, что в сердце царя, как и в сердце всякого человека, *есть божественное начало*, которое монарх призван беречь и укреплять, и из которого, как из некоего священного лона, он должен выращивать свое государственное правосознание. И вот, это божественное начало в душе царя — монархист чтит и участвует вместе со всем народом в его религиозном и нравственном укреплении». Эту престонародную и общечеловеческую концепцию мы находим в Китае, Индии и Египте, у греков, римлян, перуанцев, франков, лангобардцев и германцев, в Италии и Испании, у Боссюэ и Иосифа Волоцкого. В истинной монархии каждый гражданин стоит в особой творческой связи с божественным ноуменом своего короля или императора; он «как бы посылает своему государю *духовный луч* — луч любви, доверия, благоговения, чести, совести и государственного правосознания; и там, где все эти лучи скрещиваются, живет и творит монарх». Живая тайна царственности в том и состоит, что «государь создается всенародно — концентрацией духовных,

волевых, творческих лучей и становится как бы духовно-волевым аккумулятором своего народа», олицетворением его политического гения, великим носителем национальной чести и судьбы.

Это представление Ильина о подлинном государе и подлинном монархисте и об их взаимоотношениях, — представление, сформулированное публично еще в 1934 году, — вошло потом полностью и в исследование Ильина «О монархии». Оно явилось также как бы первым развернутым вариантом учения Ильина о государе, которое Ильин напечатал в «Наших задачах» под конец своей жизни — в виде серии из трех статей под этим заглавием: «О Государе» 18).

В статьях «О Государе» Ильин уже почти не касается вопроса об идеальном монархисте и сосредоточивает свое внимание на верно-понятой идее Государя. Ибо отход от монархии объясняется прежде всего тем, что многие люди ее неверно понимают. Значительную роль тут при этом играет то обстоятельство, что «современное "просвещение" вот уже более полутора столетий насаждает в душах материалистическую установку, приучающую видеть внешнее, чувственное, общедоступное, поверхностное и отучающую видеть в жизни и делах — внутреннее, нечувственное, сокровенное, глубокое» (548).

Верно-понятая идея Государя, говорит Ильин, есть нерасторжимое единство государственно-верховного *властвования* и самоотверженного *служения*. «Государь *властвует*. Но не потому, что он "властолюбив", а потому, что он к этому *призван* и *обязан*: в этом его *служение*» (550). Для этого

служения Государю нужны *самостоятельная воля* и всеобъемлющее *чувство ответственности*. Власть Государя *ограничена*, а связующие его обязанности безграничны.

Ограничена эта власть прежде всего *законами природы* и *законами человеческого естества*. « Государь вынужден считаться с климатом своей страны, с ее географическим положением, с ее пространством и объемом, с ее прошедшей историей » (551). Государь должен считаться также с законами человеческой природы и естественными потребностями своего собственного народа или народов — « в питании и в одежде, на суше и на море, в труде и в отдыхе, во время войны и во время мира. Он должен разуместь своеобразие тех народов, которыми он призван править, их характер, их веру, их обычаи, их национальную силу и слабости, их семейный быт и их способ прокормления, чтобы каждому из них подсказать лучший труд и *лучшее самоуправление* и чтобы каждый из них чувствовал себя признанным, оцененным и нашедшим свое место в сердце своего Государя » (551).

Жизнь Государя насыщена ответственностью и трудовым бременем познания также и в том, что касается изучения выношенного народами и монархами опыта правления, политического и дипломатического искусства и военной стратегии. Государь должен хорошо знать все то, что касается вооруженных сил, суда, народного представительства, международных дел, народного образования.

Государь ответственен за свой царский род и за

всю династию. В вопросах брака и хорошей наследственности он так же мало свободен, как и в вопросах образования и быта (552).

Государь есть также воспитатель своего народа. Его задача — воспитание в народе « *патриотизма, чувства собственного достоинства, силы суждения, чувства ответственности* — и в результате этого способности к самоуправлению. Воспитывать народ значит воспитывать его к свободе, к этому высокому искусству, сочетающему воедино *самостоятельность бытия и верность* Предмету. И призвание Государя состоит не в том, чтобы подавлять свободную веру и свободное творчество в своем народе, но в том, чтобы растить и укреплять их » (533).

Большое искусство и такт требуется от Государя и в вопросах политических убеждений и религиозной веры. « Государь ни при каких условиях не может мыслить *партийно* и быть членом партии. Партий много, а народ один и Государь один » (533). *Религиозная вера* — наряду с патриотизмом и всенародной любовью — один из главных источников вдохновения для Государя. Для него — при широкой веротерпимости к иным исповеданиям — естественно принадлежать к вере и церкви своего народа. Но это не значит, что Государь должен « утопить силу своего монаршего суждения в мнениях современного ему духовенства : ни светская власть не должна посягать на церковь и на церковное дело, ни духовенство не должно посягать на власть Государя, на ее подчинение и поглощение. Взаимный совет и взаим-

ная поддержка образуют здесь предел совместной свободы » (554).

Еще одно важнейшее призвание Государя — в том, чтобы иметь « верную, творческую и устойчивую социальную, отнюдь не социалистическую, идею, т. е. план ведения государственных дел в неуклонном направлении свободной духовности, справедливости и хозяйственной продуктивности » (554).

Государя обязывает и связывает та нить правовой подчиненности, которая идет к нему от каждого из граждан, и та нить власти, которая идет от него к каждому гражданину в стране (555). Этой чужой подчиненностью и своей властью Государь связан всегда и во всем. Поскольку он есть « начало национального единения, синтеза, органического центра, в котором все должно сходиться и примиренно сочетаться », Государю необходим « особый диапазон видения, особый горизонт далекого расстояния, и особое искусство интенсивного сращения, которое нуждается в живой активности и неутомимой проницательности » (556). Государь нуждается также в органической памяти и творческом воображении. От него требуется огромная находчивость, широта воззрений, снисходительность и благородная доброта, сердечная чуткость и творческий такт.

У Государя не может быть « личной » или « частной » жизни, никого другого не касающейся. Вся его жизнь есть достояние его народа. « Всё, касающееся Государя лично и его семьи, всё есть достояние его народа, всё входит в ореол его

государственного облика, или, наоборот, в затемнение и искажение его обличия » (567).

Учитывая все эти призвания и ограничения Государя, невозможно не согласиться, что говорить о его « привилегированности », а тем более « безответственной привилегированности », могут только люди невежественные или политически наивные. И неудивительно, что « Государь, усвоивший свое призвание и всю полноту своей ответственности, начинает чувствовать себя *пленником*, а нередко и *мучеником* своего престола. Он всю жизнь призван жить не по своему вкусу, желанию и выбору, а *по зову трона*, то подготовляя себя к будущему, то проницая данные обстоятельства и предстоящих людей, то жертвуя всем, главным и любимым, то заставляя себя превозмочь во имя своего народа сущую муку жизни, от которой ему нельзя отказаться » (558).

Так выглядит в основных своих положениях учение Ильина об идеальном монархе, занимающее центральное место в его суждениях о монархии и республике.

На этом мы можем закончить наш обзор того, что прямо связано с исследованием Ильина « О монархии » — главными этапами его работы, планом, тематикой, общим подходом и основными идеями, и перейти к разбору сугубо русской монархической и республиканской проблематики у Ильина.

II. РОССИЯ, МОНАРХИЯ И РЕСПУБЛИКА

В своем исследовании «О монархии» Ильин неоднократно говорит об отдельных русских государствах и об отдельных явлениях, связанных с историей русской монархии. Но всего этого он касается только попутно — наряду с примерами из истории других народов. Специально о русских проблемах Ильин говорит в других своих многочисленных трудах — статьях, брошюрах и книгах 19). Тут нет возможности подробно останавливаться на всех этих трудах, но кое-что самое основное, — без чего нельзя правильно понять во всей ее полноте действительную позицию Ильина в вопросе о монархии и республике применительно к России, — здесь сказать необходимо. Для удобства изложения и восприятия, мы отнесем мысли Ильина к четырем главным областям: монархия и республика 1) в прошлом России, 2) в революции 1917 года и коммунизме, 3) в эмиграции и 4) в грядущей России. Часть того, что относится к эмиграции, будет при этом выделена в особый, пятый, раздел, посвященный вопросу о монархизме и непредрешии. Некоторые, неизбежные при таком расчленении, повторения отдельных мыслей Ильина, уже известных читателю по предыдущему изложению, тем более оправданны, что они возникают в ином контексте.

1. Монархия и республика в истории России

В «Наших задачах» Ильин поместил особую статью 20), в которой разбирает вопрос о роли и месте республики и монархии в истории России.

Он констатирует тот факт, что республикой Россия за всю свою историю не была никогда, — « ни в Киевский период; ни в Суздальско-Московский период; ни в Смутное время; ни тем более в Императорскую эпоху русской истории » (219). В древних русских городах можно обнаружить, правда, сочетание черт республиканских с чертами монархическими, но беспристрастный историк должен будет все же « определить древнерусский "город" как *монархию, ограниченную непосредственным народоправством* » (220). В Новгороде с начала XII века республиканская тенденцию стала усиливаться, но именно она-то и погубила в конце концов самостоятельность Новгорода. « Россия, как единый народ и единое государство, могла спастись от напора других народов *только монархическим единением*, а не вечевыми интригами и драками, да еще в северо-западном "бастионе" страны » (221).

В эпоху великой смуты никаких республиканских настроений не было. Самозванец опирался — помимо национальных врагов России — всецело « на *монархические и анархические* настроения масс, которые и создали ему успех » (221). До самого конца Смуты все искали Царя, в том числе и самая Семибоярщина, имевшая от москвичей прямое поручение « Государя на Московское государство vybrати ». С этой целью Семибоярщина и сносилась — через Жолкевского — с королевичем Владиславом. В результате « в Москве правила тогда не то *польская диктатура с недоизбранным, отсутствующим иноземным царем*, не то *боярская олигархия*, все только изби-

равшая иноземца в русские Цари. Но республики не было и следа » (222).

После русской Смуты, в XVII и XVIII веках, в России тоже нет ни республиканской формы, ни республиканской идеи, и ни один из многочисленных дворцовых переворотов не имел республиканского характера. Лишь в XIX веке, у Пестеля, появляется идея диктаториальной республики, занесенная в Россию « бурей французской революции и рассудочным "просвещением" XVIII века с его верою в отвлеченное доктринерство », но эта идея, после казни Пестеля, исчезает « в подполье русского интеллигентского мечтания » (222).

В истории России у русских народных масс проявляются два основных течения: « *государственно-строительное*, с верою в монархию, с доверием к Царю и с готовностью самоотверженно служить национальному делу; и *государственно-разрушительное*, с мечтою об анархии или, по крайней мере, о "необременительной власти", с жаждою имущественного погрома и захвата, и с "верою" во всяческую нелояльность (традиция "удалых добрых молодцев") » (222). Это тяготение к анархии передалось и таким представителям русской интеллигенции, как Бакунин, Л. Толстой и Кропоткин, а также и русским либералам. « Но во всем этом не было исторически ни республиканства, ни республиканской традиции. А потому не было и республики — до самого 1917 года. Республикой подарил Россию именно "февраль" и последствия этого "подарка" русский народ не расхлебал еще и поныне » (223) 21).

Русская монархия вела и строила Россию на

протяжении всей ее истории. Но велика была конструктивная, стабилизирующая роль русской монархии также и для остального мира — в последний период ее существования. Этому вопроса Ильин специально коснулся в своей статье «Мировая политика русских государей», в которой он комментировал статью итальянского историка Гуилельмо Ферреро «Прежняя Россия и мировое равновесие » (22).

Ильин с огорчением констатирует, что «Европа не знает России, не понимает ее народа, ее истории, ее общественно-политического строя и ее веры. Она никогда не понимала и ее Государей, огромности их задания, их политики, благородства их намерений и человеческого предела их возможностей...» (94). Подобно другим представителям Западной Европы, Ферреро тоже «не знает истории России и не понимает ни ее судьбы, ни ее строя, ни ее задач», но, в отличие от других наблюдателей, он имеет мужество *признать* мировую политику русских государей XIX века, упорно и потомственно добивавшихся в Европе и в Азии устойчивого равновесия, «точно формулировать ее сущность и ее значение для всего мира и с величайшею тревогою отметить ее *вынужденное прекращение*» (95).

Для Ильина, разгадка этой роли регулятора мирового равновесия, принятой на себя русскими государями в XIX веке, связана прежде всего с тем, что «между русскими Государями и русским народом существовала *духовно-органическая связь*», дававшая государям «возможность чувствовать и созерцать свою страну, жить в основ-

ном русле его [народа] истории и мыслить из его трагической судьбы» (97). Эта судьба народа (провоевавшего *две трети своей жизни*) требовала к началу XIX века больше всего установления мира, — для чего необходимо было «неуклонно и искусно поддерживать в Европе и Азии равновесие сил и длительное замирение» (98). Россию необходимо было ограждать от идущих из Западной Европы двух главных опасностей: ненужных войн и революционных безумий — и одновременно выводить на путь реформ, повышающих уровень культуры и правосознания народа. Именно это и делали русские государи, почему и необходимо «признать миролюбивую и уравновешенную политику русских Государей в 19 веке — национально *верной, дальновидной и мудрой*» (99).

Однако в феврале 1917 года русская монархия пала, несмотря на все свои заслуги перед Россией и перед остальным миром. И это вынужденное прекращение русской монархии требует своего объяснения.

2. Революция и коммунизм

О причинах русской революции и о причинах падения монархии и победы большевиков Ильин говорил и писал в своей жизни много раз. Но особенно важной для понимания исторических и политических взглядов Ильина является подытоживающая серия из восьми статей под общим заглавием «Почему сокрушился в России монархический строй?» (23).

В первой статье Ильин пишет, что сам он еще

не встречал ни одного удовлетворительного объяснения тех исторических причин и тех политических ошибок, которые привели к трагическому крушению монархии в России, а вместе с нею и самой России. Со своей стороны, на вопрос о том, почему в России «тысячелетняя форма государственного спасения и национально-политического самоутверждения могла исчезнуть с такой катастрофической легкостью от первого же порыва народного, уличного и солдатского бунта?», Ильин отвечает так: потому, что «*России не хватало крепкого и верного монархического правосознания*» (421). Не просто правосознания — «рассуждения» и «понимания», но правосознания-чувства, доверия, ответственности, действенной воли, дисциплины, характера и религиозной веры. Монархическое правосознание было поколеблено во всех слоях населения.

Во второй статье Ильин выясняет правосознание русской *народной массы*. Он отмечает, что в простом народе имелось монархическое правосознание и им-то и держалось русское государство. Но вместе с тем всегда в русской истории обнаруживалась и склонность «противопоставить *обременительному закону* свой собственный, *беззаконный или противозаконный почин*» (421). И когда — в Смуте, Разиновщине, Пугачевщине — узаконялись анархия и имущественный передел, то «правосознание русского народа, поддаваясь смуте, "кривизне" и "воровству", справляло праздник безвластия, мести и самообогащения», и «*русская история переживала великий провал*» (422). Так произошло и в Ленинщине.

В 1917 году все сразу соединилось. « Грозная война с грозными неудачами поколебала доверие к военному командованию, а потому и к трону. Крестьянская деревня переживала эпоху аграрного перенаселения и великой реформы Столыпина. Вопрос *земельного приращения* стал источником всекрестьянской напряженной тревоги. И *вдруг* отречение двух Государей от Престола угасило присягу, и верность, и всяческое правосознание; а левые партии — призывающий к грабежу Ленин, рассылающий двусмысленно-погромные циркуляры министр Виктор Чернов, открыто исповедующий и практикующий государственное непотворение министр Александр Керенский, и все их агитаторы, рассеянные по всей стране, — понесли развязанному солдату, матросу и крестьянину *право на беспорядок, право на самовластие, право на дезертирство, право на захват чужого имущества*, все те бесправные, разрушительные, *мнимые права*, о которых русский простолудин всегда мечтал в своем анархически-бунтарском инстинкте и которые теперь *давались ему сверху*. Соблазн бесчестия и вседозволенности стал слишком велик и катастрофа сделалась неизбежной » (422). Как, впрочем, неизбежны сделались и последствия этой катастрофы: « В 1917 году русский народ впал в состояние *черни*; а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается *деспотами и тиранами* » (420). Так и случилось: « От монархии к анархии, от анархии к порабощению антихристом, на долгие годы смуты и тирании » (423) 24).

В третьей и четвертой статьях Ильин рассма-

тривает правосознание русской *интеллигенции* — не той, говорит он, монархически-лояльной интеллигенции, которая окружала Александра II Освободителя и осуществляла его реформы, а той, которую Руссо с Вольтером и Робеспьер с Дантоном убедили, что республика однозначна со свободой, а потому выше монархии. Ставшие на путь подражания Западу русские республиканцы-революционеры-социалисты из подпольных кругов не могли принять монархии, ее творческих успехов, ее во многом демократических реформ, ее растущей в народе популярности. « *Реформа в их глазах пресекала и обессиливала революцию. Перемены должны были идти не через Царя и не от Царя, а помимо него и против него; эти перемены не должны были привлекать сердца народа к Царю, ибо это тормозило в глазах одной части революционеров — революционную республику, в глазах другой части — анархию черного передела. Все это было движением революционного максимализма, который впоследствии, на переломе XX века, развернулся в виде большевизма* » (425).

Революционные и республиканские тенденции укрепились в начале XX века, и перед революций 1917 года « левее конституционно-демократической партии вся русская интеллигенция, а особенно полуинтеллигенция, считала монархию "отжившей" формой правления » (426). Республиканство проникало и в часть более правого сектора « общественности », например в лице А.И. Гучкова. В результате о предреволюционной русской интеллигенции и ее политическом правосознании можно сказать, что « Она промотала, проболтала,

продешевила свою верность монархической России; она не сберегла, а опозлила свое правосознание. И с ребячьим легкомыслием воображала и себя, и русское простонародье республикански созревшим народом» (427).

В пятой и шестой статьях Ильин переходит к положению *Государя и правящей Династии*. В решающий час русской истории Государь остался в почти полном одиночестве: «убежденные монархисты оказались вдали от Государя, не сплоченными, рассеянными и бессильными, а буффорский "многомиллионный Союз Русского Народа", в стойкости которого крайне-правые вожаки ложно уверяли Государя, оказался существующим лишь на бумаге» (427). При отсутствии правильного монархического правосознания в высших кругах армии и бюрократии, пассивности русского народного монархизма и активности революционной и республикански настроенной части интеллигенции, Государь мог почувствовать себя изолированным и бессильным. В результате создавшегося положения «Царствующая русская Династия покинула свой престол тогда, в 1917 году, не вступая в борьбу за него; а борьба за него была бы борьбой за спасение национальной России» (427), — ибо заменить Императорский Трон в России было нечем. И хотя оставление Престола имело за собою психологические, нравственные и патриотические основания, оно было полным нарушением российских Основных Законов; «и Государь и Великий Князь отреклись не просто от "права" на престол, но от своей, религиозно освященной, монархической и династической обязан-

ности блюсти престол, властно править, спасти свой народ в час величайшей опасности и возвращать его на путь верности, ответственности и повиновения своему законному Государю » (429). Поэтому, сопереживая трагедию Династии, необходимо, однако, выговорить юридическую, историческую и религиозную правду: « Династия в лице двух Государей [Николая II и Великого Князя Михаила Александровича] не стала напрягать энергию своей воли и власти, отошла от престола и решила не бороться за него. Она выбрала путь непротивления и, страшно сказать, пошла на смерть для того, чтобы не вызывать гражданской войны, которую пришлось вести одному народу без Царя и не за Царя... » (430).

В седьмой статье Ильин останавливается специально на вопросе *монархической партии*, которого отчасти уже коснулся в предыдущей статье, говоря о положении Государя и Династии. В умение иметь Царя входит, говорит Ильин, помимо воинского подвига, также гражданская доблесть, государственное разумение, политический такт и политическая сплоченность (518). В России было немало верных монархистов и на верхах и в народных низах. « Но единой и организованной *монархической партии*, которая стояла бы на страже трона и умела бы помогать монарху — не было. А те, которые пытались выдавать себя за такую "партию", вели линию не государственную, а групповую и не понимали своих исторических и государственных заданий » (519). В трудные для страны и трона моменты в России были героические исповедники, но « *продуманной, организован-*

ной и отстаивающей национальный трон политической партии» не было (521).

В восьмой статье Ильин заканчивает обсуждение вопроса о *монархической партии* и устанавливает водораздел между *самодержавием* и *абсолютизмом*. Монархический строй сокрушился в России потому, пишет Ильин, что русский трон «не имел идейного и волевого кадра, дальнозоркого, сплоченного и способного к активным выступлениям» (522). Это отчасти объясняется тем, что политическая, в том числе партийная, культура в России еще только начинала формироваться. Искусство партии не далось и левым; даже преуспевшая организация большевиков «всегда была заговорщической и тоталитарной, а не лояльно-партийной» (523). Но еще более искусство партии не далось русским монархистам. Главная причина их политического провала заключается в том, что «Они совсем не понимали, в чем же именно состоит призвание монархической партии в России, где правит "абсолютная" власть монарха... Одно из двух: или монархисты лояльны и приемлют эту "абсолютную власть", но тогда им нечего предаваться — ни самостоятельной мысли, ни самостоятельным действиям; или же они ее не приемлют — и тогда их партии лучше не существовать...» (523). Партийные монархисты, таким образом, смешивали *самодержавие* монарха с *абсолютизмом*, в то время как «это далеко не одно и то же и *власть законного монарха не может быть абсолютной*» (523).

Абсолютизм означает, что монарх выше права и закона, что власть его не имеет границ и ему

все позволено. Самодержавие же означает, что власть монарха — не зависящая от чужой воли, но при этом — правовая и законная. « Это необходимо продумать и понять раз навсегда: самодержавие отвергает, осуждает и исключает абсолютизм; а абсолютизм отвергает основное в правах Государя, ибо он не признает его законным монархом, он отрицает его высокое звание верховного субъекта права, он снижает его звание до звания тирана, он разлагает и разрушает саму правовую форму монархии. Именно поэтому абсолютизм не совместим с самодержавием, этим высшим проявлением законности на троне, правосознания у Монарха, чувства обязанности и ответственности у верховного в государстве лица » (524). И далее : « Абсолютный монарх ”все смеет” и ”все может”, чего желает его политическая или иная похоть (”son bon plaisir”). Но самодержавный Государь ”смеет” далеко не все, а лишь законное, законами предоставленное, правое, правовое, государственное, совестное, честное, Богу угодное. Тиранин не связан правом и законом; он призван к разнузданию и осуществляет его в самых фантастических и свирепых формах. Но именно этим он роняет и позорит свое звание монарха. Напротив, самодержавный монарх знает законные пределы своей власти и не посягает на права, ему неприсвоенные; он знает, что Государь, не блюдуший право и закон, сам подрывает свою власть... » (524).

При таком отношении к основам монархического строя, свободно-ответственное слово, честное возражение и государственно-творческая инициатива являются правом и обязанностью подданно-

го. Предреволюционные же партийные монархисты в России « считали своей единственной задачей — славословие, слепое повиновение, угождение, предупредительность и недерзание иметь свое суждение... Именно поэтому их "партия" не имела ни самостоятельного суждения о происходящем, ни организационного кадра, ни плана действий, ни соответствующих решений и выступлений. Здесь не было зрелого политического мнения и не было борьбы за трон. И Государь с Государыней, неосторожно полагаясь на заверения этой "партии", оказались изолированными и выданными врагам. Это не было сознательное "предательство"; но это была пассивность от неумения иметь Царя; это была выдача от бессмыслия, безволия и бессилия. Ожидания были обмануты; надежды не оправданы. И высокие пленники остались невырученными... » (525). Вот почему представители этой монархической « партии » не имеют никаких оснований считать, что в падении монархии в России виноваты все, кроме них. « Они — повинны первые, ибо выдавали себя за верных и преданных » (525).

Таково, по мнению Ильина, необходимое объяснение тех исторических причин и политических ошибок, которые привели к крушению монархического строя в России : России, как было сказано, не хватало крепкого и верного монархического правосознания.

3. Эмиграция

После высылки Ильина из России в 1922 году, он встретился в эмиграции с представителями всех тех общественно-политических групп и точек зрения, с которыми сталкивался и в России в предреволюционный, революционный и первый послереволюционный периоды. Он должен был вновь определить свое отношение к левым и правым и к политическому центру. Очень актуален был в двадцатых годах и вопрос об отношении к претендентам на русский престол.

В представлении Ильина, отношение к В.К. Кириллу Владимировичу и его окружению неразрывно связывалось с проблемой не только легитимизма, но и черносотенства. Осенью 1925 года Ильин послал в «Возрождение» статью, в которой открыто выступил против черносотенства. Редактор «Возрождения» П.Б. Струве эту статью не принял и вернул Ильину, на что последний тотчас же ответил письмом от 12 октября 1925 г., из Флоренции, где он в это время находился 25). Нет никаких оснований считать, что отношение Струве к черносотенству было менее отрицательным, чем у Ильина, но как редактор и политик Струве, видимо, исходил из некоторых тактических соображений, которые для Ильина были неприемлемы и, во всяком случае, не обязательны.

Письмо Ильина точно выражает его собственные принципиальные и тактические соображения. Он пишет, что в своей статье «выдифференцировал черносотенство в образ (действительно гу-

стопсово-черносотенного) *кириллизма*», хотя и не убежден при этом, что самое слово «кириллисты» произнести следует. Ильин считал, что с такими кириллистами, как Снесарев и Мятлев, которые поносят свой же собственный флаг, договариваться нельзя ни при каких условиях. Ильин осуждает также и сторонника Кирилла Владимировича свящ. Абрикосова (приезжавшего к Ильину с секретным поручением от патера д'Эрбиньи) и Шебеко, добивавшегося сближения сторонников В.К. Николая Николаевича с последователями В.К. Кирилла Владимировича.

Ильин упоминает в своем письме о том, что неоднократно обсуждал самый термин «черносотенство» с такими деятелями монархического лагеря, как Марков и Тальберг, и они соглашались, что этот термин следует применять не только к кириллизму, но и шире — «к неопределенной возможности классово-мстительной правизны», которая для Ильина была, конечно, абсолютно неприемлема. Отказываться от этого термина, писал Ильин, нельзя: «Необходимо жгучее и жгущее слово, ляписом прижигающее известные уклоны. "Дурная правизна" — неопределенно». Ильин считал жесткий удар направо и принципиально, и тактически «абсолютно необходимым». Реставрируя термин «черносотенство» для характеристики крайне-правого лагеря, «мы, — писал Ильин, — а) отрезаем благодушное, симпатичное злоупотребление им (я, мол, черносотенец); в) вырываем зуб с ядом у *левых* — чтобы они не смели нас отодвигать к черносотенцам...»

Хотя эта статья Ильина и не была тогда напе-

чатана, он неоднократно потом и частным образом, и публично высказывался против черносотенства в разных его облициях 26).

В связи с активизацией тех сил в эмиграции, которые представляли национально-политический центр и умеренно-правые круги, Ильин должен был высказать свое отношение также к В.К. Николаю Николаевичу. Ильин принял деятельное участие в Зарубежном Съезде в Париже весной 1926 года. В своей речи 27) он подчеркнул, что выступает как ученый и патриот, противник партийности и фракционности, сторонник не партийного, надпартийного русского национально-патриотического сговора. Для него, сказал он, республиканский душевный уклад и дух есть дух партийной политической интриги, разрушающий государство, в то время как «идея монархии — учит непартийности и несет в себе дух всенародного единения». Когда победил дух республиканства и революционности и замучили Царя, то не стало и государства. Точно так и в будущем: *«цвести нашей родине только под Царем и мучаться и чахнуть ей в интригах республиканской партийности»*.

Но эти заявления относительно монархии были не более как утверждением общего принципа. Ибо и тогда, в 1926 году, Ильин признавал в своей речи, что Царя у России не только *еще* нет, но и неизвестно, *«будет ли он у нас и когда он будет»*. Между тем, не имея Царя, эмиграция и Россия все-же имеют *персонального вождя* — под которым, не называя его по имени, Ильин разумел Вел. Кн. Николая Николаевича. Обращаясь к

нему, мы, говорил Ильин, имеем возможность « проверить себя — можем ли мы, не выдавая его за Царя и скорбя вместе с ним о сиротеющий без Царя России, приготовить в себе самих, в душах наших, — и в обращении к нему, — *духовное, умное место грядущему Царю всея Руси* ». Ибо « Царя надо иметь не только во главе, но в голове, в душе, в воле ».

Подчеркивая еще раз, что обращение к Великому Князю будет обращением именно к вождю, а не царю, Ильин приветствовал В.К. за то, что он « Не объявляет себя диктатором, обреченным на бессилие », что он « ждет свободного единения, добровольного подчинения, что не грозит он никому, и не вводит никакой принудительной организации ». Необходимо противостоять партийному напору справа и всем попыткам сковать Вел. Князя партийно избранными людьми. « И да не будет, — закончил свою речь Ильин, — партийного совдепа ни слева, ни справа ».

Свою особую позицию в вопросе о монархии и республике Ильин подчеркивал во многих своих — и тогдашних и более поздних — выступлениях. Через месяц после Зарубежного Съезда Ильин опубликовал в « Возрождении » статью « Республика — монархия » (28), в которой высказал немало острых замечаний относительно « затасканных, стершихся и выветрившихся политических понятий » и республиканцев, и монархистов — и преподал и тем и другим ряд конкретных идейно-политических советов.

« Надо понять, — писал Ильин, — что старшее

поколение русских республиканцев наивно идеализировало республику и просмотрело глубину и жизненную силу монархии; а младшее поколение — или беспомощно твердит зады или приучается ставить весь вопрос с точки зрения не русских интересов. И еще надо признать, что старшее поколение русских "крайне-партийных" 29) монархистов (за немногими, всем известными исключениями) — всегда было и всегда будет неспособно выяснить духовное обаяние монархического начала и утвердить его жизненную силу; а младшее поколение, по неопытности бредущее за этою "крайне-партийностью", впитывает в себя эту извращенную традицию и приучается к воспроизведению старой лжи и старых ошибок». Вообще, надо покончить с «омертвевшими словами и пустыми трафаретами» и поставить вопрос о монархии и республике *идейно* и заново. И это относится к *обоим* лагерям, монархическому и республиканскому: «идейные и честные монархисты должны понять, что под монархическим флагом и ныне нередко ввозится самый зловредный противомонархический яд, на разоблачении которого впоследствии играют республиканцы; а идейные республиканцы-патриоты должны убедиться в том, что под республиканским флагом ввозится самый зловредный, против-патриотический (интернационалистический, или непротивленческий, или сепаратистский) яд, разоблачение которого всегда приходит слишком поздно...»

Перед теми, продолжает Ильин, кто в наше время хотят быть республиканцами, стоит нелегкая задача: они «должны открыто и принципи-

ально сосчитаться с фактом *большевицкой республики*; они должны оправдать и обосновать идею республики; они должны доказать, что начала *классовой алчности, личного карьеризма, партийной интриги, гражданской войны, словом всяческой центробежности* — не составляют самой сути республиканства; они должны открыто выговорить, что идея республики переживает в России и повсюду острый кризис, ибо *именно республика оказалась подходящей государственной формой для большевицкого содержания*». Подобно этому и те, кто в наши дни хотят быть русскими монархистами, «обязаны открыто сосчитаться с фактом крушения монархии в России, мужественно осмыслить и исследовать это крушение и постигнуть его духовные причины; они должны заново оправдать и обосновать идею монархии; они должны показать, что начала *вредной централизации, касты, средостения, бюрократии, временщичества, бесправия и обскурантизма, словом извращенной центростремительности* — не составляют самой сути монархизма; они должны доказать, что монархия сокрушилась в России не потому, что монархическая стихия была слишком *сильна* в стране, а потому, что она ослабла, расшаталась и выветрилась в душах; они должны показать, что за последние 20 лет перед революцией государственный строй в России только по имени и по закону был монархией, ибо снизу проводилась противомонархическая тактика *изоляции и обессиления Царя, что монархия в России заживо захлебнулась в чисто-республиканской стихии борьбы партий за власть*». Сло-

вом, необходимо предпринять идейное очищение душ и идейно пересмотреть и восстановить старые, уже забытые истины и по-новому осветить их из глубин пережитого. Идейные монархисты «должны указать и утвердить все великие достоинства истинной монархии и подлинного монархизма; — и вообще, и в особенности для нашей родины. И пусть другие, если кто может, попытаются указать нам преимущества республики вообще и спасительность ее для России в частности...»

В трудном положении оказываются в эмиграции не только монархисты, лишившиеся монархического строя в своей стране. В трагическом положении пребывают и сами монархи или династии, лишившиеся наследственного престола. В «Наших задачах» этой трагедии династий без трона Ильин посвятил особую статью (30).

Даже законный — но низложенный — государь оказывается в изгнании в трагическом положении. Положение же представителей династий, только еще претендующих на занятие престола, еще хуже. Трагедия законного государя начинается с *разрыва* между его *обязанностями* и *правами*: права его внешне не признаются, в то время как внутренне он *сохраняет верность* своему религиозному призванию и обязанностям правителя страны. Вытекающее отсюда трагическое самочувствие осложняется целым рядом жизненных условий и отношений. «Низложенный монарх не может не думать о том, что он, в сущности говоря, *предан* своим народом и своими приверженцами (монархистами)...» (74). Его объявляют «претен-

дентом», в то время как он — законный государь и «ждет совсем не возврата *”привилегий”*, он ищет не власти, а служения; он хочет совсем не почестей себе, а спасения, освобождения от тирании и возрождения для своего народа» (74). Монарх оказывается, далее, в положении зависимости — от иностранных правительств, если он становится ищущим убежища эмигрантом; от своих иностранных родственников, если он вынужден искать у них приюта; от работодателей или от дальновидных и часто небескорыстных «меценатов», если гостеприимных родственников не окажется.

Не имея территории, армии, правительственного аппарата и средств, монарх в изгнании не может вести самостоятельной политики, вынужден «или просить согласия и *”покровительства”* у иностранных правительств, или же заключать секретные соглашения направо и налево в наименее выгодный для своего народа час» (75). Не имея, в отличие от правящего государя, разветвленного аппарата явной и тайной информации, монарх в изгнании «всегда рискует стать жертвой своей недостаточной осведомленности или же безответственной и зложелательной дезинформации» (75). Точно также, монарх в изгнании лишен возможности сам выбирать своих советников и сотрудников из всего состава своего народа и должен иметь дело «с весьма ограниченным кругом эмигрантов, нередко вынужден довольствоваться теми, которые сами навязываются ему (нередко из честолюбия, карьеризма или по соображениям еще более непроглядным)» (75).

Все эти обстоятельства усугубляют личную политическую трагедию монарха и затрудняют для него всякую ответственную активную политику в изгнании. « И чем больше территория и население его страны, чем сложнее ее проблематика, чем глубже переживаемая ею революция и чем менее другие страны и правительства разумеют особенности его страны, чем более иностранцы склонны насаждать "республику" и "федерацию" в монархической и унитарной стране, — тем затруднительнее и трагичнее его положение » (76).

Таким образом, вопрос о монархии — и монархе — в условиях эмиграции необыкновенно усложняется и требует как бы двойственного решения. К этому решению мы и вернемся в заключительной части этого раздела нашего обзора. Теперь же перейдем к вопросу о том, как Ильин представлял себе государственную форму в будущей России.

4. *Грядущая Россия*

Над прошлым, настоящим и будущим России Ильин размышлял несколько десятков лет. Одним из итогов этих размышлений была статья Ильина « Надо готовить грядущую Россию », помещенная в « *Наших задачах* » 31).

Ильин считал, что в нынешних условиях невозможно сформулировать будущую русскую конституцию, излагающую в форме ряда законопроектов государственное устройство будущей России. Для начертания подобной конституции у нас просто нет необходимых конкретных данных: « мы не знаем времени (когда это будет?), про-

странства (при какой территории?), национального состава будущей России, ее социального строения, состояния народного правосознания, ее экономического и международного положения» (403). Но поскольку всякая конституция должна быть выводом из двух посылок — принципиальных основ и конкретных данных — об одной части будущей конституции можно говорить уже сейчас. В качестве *принципиальных основ* будущей конституции Ильин выдвигает следующее :

1. В отличие от таких дореволюционных русских групп, как анархисты, конституционалисты-демократы и социалисты, которые считались с одними отвлеченными идеалами, « наши поколения должны мыслить *реалистически и исторически* », т. е. должны « исходить от русской исторической, национальной, державной и психологической данности, в том виде, как она унаследована нами » (403).

2. Прежний способ постановки политических вопросов — « *мечтательно-доктринерский, рассудочно-формальный, интернациональный, искачительно-демагогический* » (404) — должен быть отвергнут. « Понятия свободы, равенства, народовластия, избирательного права, республики, монархии, федерации, социализма — понимались доселе *формально*, в отрыве от правосознания и его аксиом, в отрыве от народного душевного уклада и от национальных задач государства » (404). Все эти понятия нужно подвергнуть пересмотру и углубленной критике и наполнить их новым содержанием.

3. Осуществляя этот пересмотр, необходимо

помнить, что « Нет и не может быть единой государственной формы, которая оказалась бы наилучшей для всех времен и народов. Политически-жиздительное в одной стране, у одного народа, в одну эпоху, при таком-то климате, темпераменте, хозяйстве — может оказаться разрушительным в других условиях. Поэтому Западная Европа и Америка, не знающие Россию, *не имеют ни малейших оснований навязывать нам какие бы то ни было политические формы*, — ни демократические, ни фашистские... Мы готовы повторить это сто раз: *Россия не спасется никакими видами западничества, ни старыми, ни новыми* » (404). Будущее русское государственное устройство должно быть правильным выводом из 1) русской истории и из 2) бесспорных христианских основ правосознания и государственности — с тем, однако, чтобы « не стремиться воплотить эти аксиомы вслепую, в меру утопического максимализма, но в меру их исторической вместимости в живую ткань современной русской народной жизни » (405).

4. В особенности важно уже теперь извлечь идею государства и политики из предреволюционной и западнодемократической *пошлости* (« сочетание массовой демагогии и расчетливой закулисной интриги, честолюбивой толкотни и беспринципного компромисса, партийного засилия и бессмысленного голосования вслепую ») и из революционной и коммунистической *грязи* (*насилие и коварство, деспотизм и террор, классовая борьба и тоталитарные способы управления*). Ибо политика на самом деле имеет « совсем иные задания,

совсем иную природу, совсем иной духовный стержень » : она есть « властно внушаемая солидаризация народа; авторитетное воспитание личного, свободного правосознания; оборона страны и духовный расцвет культуры; созидание национального будущего через учет национального прошлого, собранного в национальном настоящем » (405). Вот почему политика должна быть делом не презренных плутов, а качественных людей; она требует « большой идеи, чистых рук и жертвенного служения » (406).

Анализируя таким образом принципиальные основы, на которых должна, по его мнению, строиться будущая русская конституция, Ильин в этой своей статье как бы обходит прямую постановку вопроса о монархии и республике. Несколько позже Ильин продолжил свой анализ принципиальных основ будущего российского государства и дополнил его формулировкой прав и обязанностей российских граждан³²). Но и в этих статьях вопроса о верховной власти или государственной форме Ильин касается лишь во вступлении, — где прямо заявляет о том, что будущее русское государственное устройство он отказывается мыслить себе как республиканское, все равно — федеративное или унитарное. Он обещает дать в дальнейшем « углубленное исследование вопроса о государственной форме и в частности о духовном существе монархического начала » (411). Это и было им осуществлено в трех статьях под общим заглавием « О Государе »³³), о которых мы уже говорили в этом обзоре.

Свое отрицательное отношение к духу респу-

бликанства — по крайней мере применительно к России — Ильин высказывал давно и недвусмысленно. Так, например, в своей речи на Зарубежном Съезде в 1926 г. 34) Ильин прямо сближал дух революционности и дух республиканства. Оглядываясь назад, научились ли мы тому, спрашивал Ильин, что Россия «распалась от водворения в ней духа республиканского — духа партийной политической интриги, классового интереса и жадного честолюбия?» И тот факт, что революция водворила в России республику, представлялся ему вполне естественным: революция и республика «обе сродни, по существу, по духу, по укладу душевному» — и приводят к распаду единого государственного целого «на части, на партии, на центробежные воли, на поползновения, ставящие частное выше общего». Уже из-за одной этой близости республиканского духа к духу революционному, по мнению Ильина, ожидать возрождения России на путях республиканских не следует.

У России не может быть цветущего республиканского будущего не только в силу отрицательных свойств республиканского образа правления, но и в силу его положительных черт. Просто провозгласить в будущей России республику — дело нежизненное, писал Ильин в «Наших задачах» 35). Думать что провозглашение республики с неизбежностью приведет к ее успеху, могут «только люди, не понимающие, что республика есть всегда выражение особого душевного уклада; что необходимо думать и чувствовать по-республикански для того, чтобы республика возникла,

окрепла и удалась. Где же учился и научился русский народ так думать и так чувствовать? У "временного правительства", заговаривавшего революционную толпу? Или у коммунистов, ловко поставивших революционную толпу на колени? Республиканец превыше всего ставит дело свободы. Где же учился русский народ этому свободолюбию? Не в коммунистических ли каторжных лагерях?.. Свобода есть умение сочетать *независимость* с *лояльностью*; а между тем, оба эти начала попираются в России уже четвертый десяток лет... Республиканство есть политическое искусство строить государство при рыхлой, зависимой, подкопанной и нерешительной верховной власти. Можно себе представить, что начнется в "республиканской" России после сорока лет тоталитарного строя.. » (381-382). Поскольку государство есть не механизм, а организм, и «всякая истинная и прочная форма жизни должна быть подготовлена в нем *органически*», в соответствующую «"органическую подготовку"» всероссийской республики или многого множества малых республик — мы не имеем *никаких оснований* верить, — ни исторических, ни географических, ни хозяйственных, ни культурных, ни духовных, ни религиозных. Надо совсем не знать или политически не постигать Россию, чтобы быть русским республиканцем » (382).

Нужно при этом, однако, всегда помнить, что в наше время выветрились, исказились и омертвели не только такие понятия прошлого, как «демократия», «федерация» и «республика», но и такие, как «монархия». Об этом Ильин писал,

в частности, в статье « Очертания будущей России », напечатанной тоже в « Наших задачах » 36). Говоря о тех, кто бездумно выдвигает монархические лозунги, Ильин восклицает : « думают ли они о том, что "монархами" были и Тиберий, и Нерон, и Калигула (пусть только почитают Тацита и Светония), что "монархом" был и презренный Андроник Комнин византийский, и мудрый, тихий Марк Аврелий, и великий Петр, и аморальный Генрих VIII, и Ричард III, и Гарун-аль-Рашид, и Антигон I македонский, государь мудрый и творческий, и безумный Эрик XIV шведский, и Иоанн VI Антонович !.. История знает множество государей, которые своим правлением только подрывали все светлое, священное и могучее, что заложено в монархическом начале. Какая же монархия зиждительна и спасительна для России и почему именно ? И почему одни стоят за самодержавную монархию, а другие за конституционную (и эти последние — неужели только для того, чтобы угодить радикалам-демократам ?.. о, тщетная надежда !..). И какая же именно "конституция" возродит и утвердит Россию ? » (329).

Таким образом, не только привычные республиканские, но и прежние монархические лозунги нуждаются в серьезном пересмотре и уточнении, без чего они рискуют оказаться простой публицистической словесностью. И подобно тому, как одним простым провозглашением республики в России прочный республиканский строй установить невозможно, так невозможно восстановить и монархический — простым провозглашением монархии. Характеризуя, в другой статье « Наших

задач » 37), категорию людей, которые уверены в том, что достаточно будет в России провозгласить монархию, как все станет на свое место и пойдет гладко, Ильин пишет : « Слушаешь таких людей и удивляешься : для них история как будто не существует. Ведь монархический строй не может, что называется, "повиснуть в воздухе"; необходимы по крайней мере две предпосылки, две основы : во-первых, — *верное монархическое строение души в народе*, которое можно было бы точнее всего выразить словами : *надо уметь иметь Царя*; и, во-вторых, необходимы те *социальные силы*, которые понесли бы богоданного Государя — преданностью, верностью, служением, честью, честностью и в особенности тем *правдоговорением перед лицом Государя*, которое необходимо ему самому, как "политический воздух". Имеются ли эти предпосылки в России ? Ведь Россия имела счастье быть монархией и почему-то развалилась... Почему ? Не от того ли, что она *разучилась* иметь Царя ? Не от преобладания ли честолюбивой интриги над верностью и преданностью ? Не от того ли, что *монархизм карьеры* вытеснил *монархизм служения* ? Что же, дело с тех пор усовершенствовалось ? И притом значительно ? Научились ли русские люди иметь Царя ? Или они опять предадут его за свой частный прибыток на растерзание ? — Вот о чем следовало бы подумать "провозглашателям". Монархия должна быть *подготовлена религиозно, морально и социально*; иначе "провозглашение" окажется пустым словом и началом нового разложения... » (381).

К кардинальному значению нравственного воз-

рождения русского народа Ильин обращался во многих своих писаниях. В статье « О возрождении России » 38) он соглашается с тем, что возрождение России предполагает « *восстановление достойной государственной формы, возобновление осмысленного хозяйства, основанного на частной собственности, и возрождение свободной русской культуры* » (394). Но прежде всего и больше всего необходимо будет покончить с разлившейся в России большевицкой порочностью. Верно, что водворившаяся в стране деморализация — « *не свободная, а навязанная* » (396), *вынужденная*. Но это не отменяет самого факта : состояние русской души и русского духа ныне « *униженное и развращенное* », и русский народ нуждается прежде всего « *в покаянии и очищении* » (397). Россию не возродить и ее величия не воссоздать без того, чтобы уже очистившиеся духовно помогли еще не очистившимся « *восстановить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способность к верности* » (397).

Пора подвести предварительные итоги по вопросу о будущем России. Как писал Ильин в статье « О государственной форме » 39), он исходит из того, что государственный строй зависит от целого ряда очень важных факторов : 1) « *прежде всего от уровня народного правосознания, от исторического нажитого народом политического опыта, от силы его воли и от его национального характера* » (42); 2) от *территориальных размеров страны и численности ее населения*; 3) от *климата и природы страны*; 4) от *многонационального со-*

става населения. Все эти факторы не облегчают, а затрудняют установление в России республиканской государственной формы. Теперь же, после десятилетий коммунистического владычества, требовать для России демократической, федеративной республики и вовсе безрассудно.

Но если республика для России как бы органически не подходит, то не скоро можно будет установить в России и монархию. «Пройдут годы национального опаматования, оседания, успокоения, уразумения, осведомления, восстановления элементарного правосознания, возврата к частной собственности, к началам чести и честности, к личной ответственности и лояльности, к чувству собственного достоинства, к неподкупности и самостоятельной мысли, — прежде, чем русский народ будет в состоянии произвести *осмысленные и не погибельные политические выборы*» (44). Что же касается возможности восстановления на престоле свергнутой династии, то, разбирая этот вопрос в самой общей форме в уже цитировавшейся нами статье «Трагедия династий без трона», Ильин выдвинул следующих пять условий: «должны назреть в *самом народе* внутренние — политические, нравственные и религиозные тяготения, способные проявиться *активно и организованно*; должен сложиться *кадр монархистов*, — людей чести, верности и государственного опыта; должна разложиться или просто рухнуть революционная или соответственно республиканская власть в стране; должна быть морально, политически и стратегически подготовлена международная конъюнктура. И, что особенно важно, —

должна сложиться и окрепнуть вера в данную династию, как в *духовный орган национального спасения и международного мира* » 40).

Все это, однако, может осуществиться лишь в каком-то более или менее отдаленном будущем. Что же касается положения, которое создастся сразу же после крушения коммунистического строя, то Россию « может повести только *национальная, патриотическая, отнюдь не тоталитарная, но авторитарная — воспитывающая и возрождающая — диктатура* » 41).

Мы возвращаемся, таким образом, к вопросу об отношении к монархии и республике в условиях эмиграции.

5. Монархизм и непредрешение

Чтобы правильно и во всех ее компонентах понять идейную и политическую позицию Ильина в вопросе о монархии и республике, необходимо учитывать, что Ильин был одновременно и убежденным монархистом, и явным непредрешенцем. Совмещение этих двух — на первый взгляд, казалось бы, несовместимых — точек зрения проходит красной нитью через все его публицистическое и идейное наследие.

Тут уже упоминалось о выступлении Ильина на Зарубежном съезде в Париже весной 1926 г., на котором он заявил себя сторонником не только монархического принципа, но и не партийного, надпартийного русского национально-патриотического сговора. Говорилось и о статье Ильина « Республика — монархия », опубликованной в

« Возрождении » всего лишь через месяц после съезда 42), в которой Ильин высказал ряд острых критических замечаний насчет некоторых « затасканных, стершихся и выветрившихся политических понятий » и республиканцев, и монархистов. В этой статье Ильин прямо заявил о своем непредрешенчестве. Для него, писал Ильин, Россия выше всего, а потому « ничто классовое, партийное, групповое и личное » не может его связывать. Не отказываясь от своего монархического идеала, Ильин указывал, что *политически* он вопроса о монархии или республике не предрешает. Но этим он не ограничился и пошел еще дальше: « после падения большевиков, мы, — писал Ильин, — в отличие от ”крайне-партийных” [т.е. крайне-правых] господ, *примем Россию во всякой политической форме* ». « Мы, — продолжал Ильин, — не верим в преимущества республики ”вообще”; а тем более не верим мы в ее жизненность, целесообразность или даже спасительность для России; тем более *ныне*. Но *если бы* оказалось (допустим это условно), что наша родина после большевиков обречена на то, чтобы еще известное время перемогаться и прозябать в этой государственной форме, то мы без колебаний прекратили бы наше пребывание за рубежом. Мы не остались бы в эмиграции и не повели бы из чужих стран подпольную работу; мы поехали бы в Россию — реально и самоотверженно служить ей и в ее ”республиканской форме”, каждый на своем месте, без всякого саботажа, подсиживающего злорадства, пораженчества и тому подобной лукавой пошлости. Мы сказали бы: ”монархия тре-

бует или живой традиции, или духовной зрелости; вероятно традиция порвалась; по-видимому зрелости еще нет; пройдет постепенно угар революции, придет волна здоровой центростремительности, волна сверхклассового патриотизма; дозреют души, возродится традиция и желанное совершится безболезненно; кровью можно пресечь, но нельзя создать и построить, а терзать Россию новой гражданской войною во имя водворения ложной, партийной монархии на крови честных, но иначе мыслящих русских патриотов — это надо предоставить героям правой стенки"... » После падения третьего интернационала дух гражданской войны должен в нас угаснуть. Пока же, все усилия нашей воли должны быть направлены на свержение этого интернационала.

Десять лет спустя, публикуя свою уже известную нам речь, посвященную памяти убиенного Короля Александра I всея Югославии 43) и исполненную выражения глубоких монархических чувств и представлений, Ильин сопроводил свой текст следующим примечанием: « Публикуя эту речь, я по-прежнему остаюсь верен позиции "непредрешения" и даю ей только более глубокое обоснование. Будущая форма государственного устройства России будет зависеть прежде всего и больше всего от того правосознания, которое обнаружится в русском народе после падения большевиков. Мы не можем ни предвидеть, ни предсказать его. Необходимого для введения монархии, монархического правосознания в русском народе может и не оказаться. Как же мы можем предрешать будущую форму именно в сторону монар-

хии? Что же создаст в России монарх, если народ не пойдет за ним на жизнь и на смерть? Все остальное по существу изложено в моей речи».

За несколько лет до этой речи, в 1931 году, Ильин опубликовал в «Возрождении» статью под характерным заглавием — «Мы не предрешаем» 44), в которой сформулировал очень важные для понимания его идейной и политической позиции различения между политическим идеалом, политической программой и тактическим лозунгом.

Политический идеал Ильина, — как это очевидно из всех его печатных и устных выступлений и в особенности из его исследования «О монархии», — есть идеал монархический, противостоящий идеалу республиканскому. Для Ильина монархическое чувство и правосознание выше чувства и правосознания республиканского. Но это не делает Ильина сторонником *политической программы*, требующей установления монархии всюду, всегда, при всех обстоятельствах и во что бы то ни стало. Есть страны, в которых могут быть идейные монархисты, но безнадежна монархическая программа, — таковы, например, современная Швейцария и Соединенные Штаты. Есть страны, которые — подобно России — почти всегда в течение своей истории были монархиями, но правосознание которых в тот или иной момент их исторического бытия проходит через определенный кризис. При отсутствии в такой стране в данный исторический момент необходимого монархического правосознания и чувства, монархии не на кого и не на что опереться — и устанавливая ее надо было бы

вооруженной силой, что повело бы только к гражданской войне и политическому провалу.

Вот почему, исповедуя монархический политический *идеал*, в истории бывает иногда необходимо отказаться на время от монархической политической *программы*. Именно так обстоит сейчас дело в России и с Россией, находящейся во власти большевизма-коммунизма. Какая политическая форма установится в России сразу же после падения коммунистического строя, ни предвидеть, ни предрешить невозможно. Будет ли это монархия, или республика, или диктатура, или, наконец, какая-то новая политическая форма, не подходящая ни под какую известную историческую и юридическую категорию, — мы предрешать сейчас не в состоянии и не должны. Можно только утверждать, что любая переходная форма будет лучше коммунистически-советской, уже хотя бы потому, что она будет означать сдвиг и будет сулить исцеление. И Россия сейчас нуждается не в разделении антикоммунистических сил на партийно-программных монархистов и республиканцев, а в их надпартийном сговоре и объединении. « Современная трагедия России так велика и глубока, что борьба должна вестись не за политическую форму, а за самое *бытие народа*, за возможность дышать и трудиться, а не пресмыкаться и расстреливаться ». Отсюда и *тактический лозунг непредрешения*, который делает возможным совместную борьбу честных монархистов и честных республиканцев против общего врага всех русских — коммунизма.

Пять лет спустя Ильин снова вернулся к вопро-

су о монархии и непредрешении во вступительной статье к целой серии статей, напечатанных в «Возрождении» под общим заголовком «Новая Россия — новые идеи» 45).

Указав, что предметом этих статей будут не вопросы политической *тактики* ближайших лет и не вопросы политической *программы* дальнейших лет, а *духовно-национальная идея* новой России, выдвигаемая «отныне и на многие, многие годы вперед», Ильин пояснил это различие на примере острого тогда в эмиграции спора о предрешении и непредрешении. Вопрос о том, бороться ли *немедленно* за республику или монархию в будущей России, есть вопрос тактики, т. е. наиболее целесообразного ныне для России способа действия. В то время как самый этот вопрос о монархии и республике в будущей России есть вопрос уже не тактики, а политической программы для *послереволюционного* времени. Но ни тактика, ни программа еще не решают проблемы монархии и республики как *идеологической* проблемы.

Что́ есть монархия и что́ есть республика, далеко не каждому известно и понятно. «За время революции здесь не только не наступило улучшения, но напротив — все помутилось в душах и померкло в головах еще больше: и от соблазнов, и от необразованности, и от нищеты, и от ожесточения. Достаточно спросить себя: во что превратилась идея монархии у младороссов, этих, по точному слову А.А. Башмакова, "самонадеянных недоучек, презирающих всякий умственный труд" и несущих России "несомненную моральную за-

разу"? 46) Достаточно спросить, во что превратилась идея республики у коммунистов, этих свирепых неучей, презирающих идею права и живого субъекта прав, и принесших России республиканскую диктатуру, республиканский террор, республиканский позор и республиканское крушение? »

Только разобравшись в идеологической сущности вопроса, можно наметить правильную программу и тактику. Ибо идея есть первичное, исходный пункт, программа — вторичное, производное, а тактика — третичное. *Идея*, национальная идеология « рождается из *духовного и религиозного* опыта. Это проблема не только политическая или государственная; — это дело Богосозерцания, мировосприятия, жизнеразумения; это дело национального и патриотического видения. Это *священный корень* всякой программы и тактики. Это дело патриотического горения, национальной философии и научного исследования ».

Программа определяется двумя координатами : идеалом и историческими условиями. « Программа рождается из созерцания идеи и из научно-ответственного и добросовестно-основательного изучения исторической реальности. Одной идеи здесь недостаточно : надо знать фактическую данность и предвидеть эволюцию страны; надо знать реальное положение дел — религиозное, национальное, культурное, психологическое, политическое, экономическое, техническое. Вот почему нам теперь так трудно (до невозможности !) составлять программу для будущей России... »

Тактика в нормальных условиях « нелепа без идеи и без программы. Но ныне — обстоит иначе.

Программу нам иметь нельзя. Но борьба отрицательная, свергающая борьба, для нас обязательна. Для этой борьбы нужен план», т. е. та самая тактика, которая в нормальных условиях должна была бы рождаться из идеи и программы.

Применительно к вопросу о монархии и республике, о предрешении и непредрешении, эти общие соображения означают, в частности, что «*идейно-убежденный монархист может считать монархию при известных условиях программно неосуществимой и нежелательной*» — например, тогда, когда в стране отсутствует монархическое правосознание, или же в силу ряда других «патриотически обязательных и политически веских оснований». Более того: «можно быть монархистом *по идее и по программе, но тактически*, временно не выдвигать этот лозунг; и притом или для того, чтобы создать более широкую ударную коалицию, или для того, чтобы облегчить волевое единение между зарубежной и подъяремной Россией». Это приводит к двум основным возможностям: 1) тактический непредрешенец может быть программным предрешенцем («я согласен сейчас не выдвигать вопрос о будущей форме правления, но после свержения коммунистов я буду бороться за монархию...»); с другой стороны, 2) тактический непредрешенец может быть одновременно программным непредрешенцем («я считаю монархический строй единственно верным и желательным; но опасаюсь, что после свержения коммунистов в России не окажется ни монархического правосознания, ни религиозно-нравственных источников для него; я опасаюсь, что наста-

нет тягостный период русской истории — деморализация в массах и военная оккупация иноземцами, так, что о монархии временно нельзя будет и говорить, и Россия будет изживать это болото в республиканских формах». Рисуя эту последнюю ситуацию, Ильин отмечал, что считает ее неисключенною, хотя и не неизбежною).

К этим главным положениям и сводятся те различия между политическим идеалом, политической программой и тактическим лозунгом, не разобравшись в которых невозможно правильно понять идеи и действия Ильина со времени захвата власти большевиками в России — в особенности в двадцатых и тридцатых годах, когда Ильин имел возможность открыто участвовать в различных политических акциях русского Зарубежья. Будучи по своему политическому идеалу «предрешенцем» — просвещенным сторонником монархической государственной формы, он в то же время был — в вопросах политической программы и политической тактики — во всем том, что касается монархии и республики — убежденным непредрешенцем.

Перейдем теперь к подведению итогов.

Заключение

В *первой части* нашего очерка, посвященной труду проф. Ильина «О монархии», мы — пользуясь преимущественно еще неизвестными исследователям архивными материалами — установили основные этапы работы Ильина над его предметом, а также первоначальный замысел, оконча-

тельный план и тематику, общий подход и главные идеи, легшие в основу его исследования «О монархии». Встающий со страниц этого исследования образ идеального монарха был в конце этой части подкреплен и дополнен чертами, которые содержатся в двух прежних публикациях Ильина — его речи «О монархе» тридцатых годов и его серии статей «О Государе» пятидесятых.

В своем исследовании Ильин показал, что трафаретные представления о том, каковы самые существенные отличия монархии от республики, не выдерживают серьезной юридической, исторической, психологической и идеологической критики. Обычные *формальные критерии*, при помощи которых определяют монархическую форму правления: единоличность верховного государственного органа, наследственность, верховенство царской власти, бессрочность и пожизненность, — критерии не надежные и, во всяком случае, не абсолютные. Единственно верным критерием, позволяющим отличить монархию от республики, является наличие или отсутствие соответствующего уклада души или *правосознания* — монархического для монархии и республиканского для республики.

В качестве главных склонностей, тяготений или *предпочтений монархического правосознания* Ильин выдвинул следующие: олицетворение (персонификация) власти и государства-народа, религиозное освящение государственной власти, идея Провидения, семья и род, начало ранга, начало традиции, пафос доверия к главе государства и любовь к нему, начало достоинства и чести,

художественное отождествление с монархом, правдоговoreние, лояльность и ответственность, пафос верности, воля к служению и заслуги служения, аскеза политической силы суждения, дисциплина и армия, субординация, назначение, властная опека, тяга к интегрирующей аккумуляции, центростремительность, восприятие государства как учреждения.

Обрисовывая образ *идеального монарха*, его умопостигаемую сущность, Ильин отмечал проходящее через историю всех времен и многих народов представление о двойном составе царского существа, божественном и человеческом, причем божественный состав не столько дан, сколько задан. Важнейшими условиями доверия народа к монарху (а без этого доверия монархия невозможна) Ильин считал, во-первых, религиозность царя и, во-вторых, известный уровень нравственности и характера. При этом, однако, религиозность и правосознание более важны, чем святость и бесстрастность царя. В правосознании и во всей деятельности монарха должны проявляться его идея служения, его справедливость и его лояльность по отношению к законам.

У монархии есть свои *опасности*. Монарх должен сохранять свою автономность. Но эта автономность может оказаться утраченной в целом ряде ситуаций. И в крайних случаях возникает труднейшая для монархического правосознания всех подданных проблема *диспенсирования* своей обязанности пожизненно служить монарху. При решении этой проблемы приходится исходить из следующих принципов: царь для страны, а не

страна для царя; неповиновение как священная обязанность, а не как право; неповиновение не вопреки своей присяге, а во исполнение ее; полная отрешенность при неповиновении от личного или сословного (классового) интереса; неповиновение как единственный и верный путь к строительству монархии.

Что касается *республики*, то главное возражение Ильина заключается в том, что в основе республиканской формы лежит пафос отрицания вечных и последних религиозно-органических основ народного правосознания 47).

Для Ильина, основные склонности, тяготения или *предпочтения республиканского правосознания*, — как правило, противостоящие соответствующим предпочтениям монархического правосознания, — сводятся к следующим пунктам: растворение личного начала и власти в коллективе, утилитарно-рассудочное восприятие государственной власти, отношение к человеческому изволению как стоящему выше судьбы и природы, взгляд на общество как на свободный равный конгломерат, всесмещение, культ равенства, культ новаторства, пафос гарантии против главы государства, пафос избрания удобного «ребус сикстандибус», культ независимости и свободы, автономия, отвержение авторитетов, разрыв между субъектом олицетворяемым (государство) и субъектом олицетворяющим (президент республики), безответственность, недоверие к главе государства, культ личного успеха и карьеры, притязательность политической силы суждения, личное согласие, инициатива и добровольчество, коорди-

нация и выборы, самоуправление, тяга к вольной дифференциации и атомизму, центробежность, восприятие государства как корпорации.

Переходя к подведению итогов, относящихся ко второй части нашего очерка, напомним, что в ней мы, — обильно цитируя статьи Ильина, печатавшиеся в уже недоступных читателю русских зарубежных газетах (преимущественно «Возрождении») двадцатых и тридцатых годов и в уже почти полностью разошедшихся «Наших задачах» сороковых и пятидесятых, — перешли от общей проблемы «монархия — республика» и «монархическое правосознание — республиканское правосознание» к тому, как эта проблема воспринималась Ильиным применительно к России — к ее прошлому, революции 1917 года и коммунизму, эмиграции, а также мыслимой России будущего.

Как мы видели, для Ильина один из главных уроков русской истории заключается в том, что на протяжении всего своего существования до 1917 года Россия была *монархией* и что именно монархия вела и строила Россию, а республика ее разваливала и, развалив, заменила тиранией (тоже в форме республики). Но в падении монархии, приведшей к крушению и самой России, виноваты не одни только явные и тайные республиканцы, а и сами монархисты, включая даже представителей Династии. И для возрождения России в будущем необходимо прежде всего осознать причины крушения и стать на путь нравственного, идейного и волевого оздоровления. Как в прошлом, так и в будущем, — учитывая уровень русского

народного правосознания, исторически нажитый народом политический опыт, силу его воли и его национальный характер, территориальные размеры страны и численность и многонациональный состав ее населения, а также климат и природу страны, — для России наиболее подходящей государственной формой была бы, в принципе, монархия. Но монархию невозможно просто провозгласить. Она должна быть подготовлена — нравственно, социально, политически. На это могут потребоваться многие годы. А потому, даже исповедуя монархический политический идеал, в условиях эмиграции (а, возможно, и в первое время после крушения большевизма-коммунизма) было бы неправильно формулировать монархическую программу и выдвигать монархическую тактику. Единственно верным тактическим лозунгом ныне может служить лишь лозунг *непредрешения* будущей государственной формы России.

Эти краткие итоги первой и второй частей нашего очерка мы хотели бы теперь дополнить некоторыми соображениями о достижениях Ильина и о возможном отношении к его идеям, — перед тем, как вернуться еще раз к общей политической позиции Ильина.

Хотя формально *исследование Ильина «О монархии»* осталось неоконченным, мы вправе считать, что — с добавлением указанных самим Ильиным страниц из его берлинских лекций «Понятия монархии и республики» — почти всё главное, принципиальное Ильиным было все же сказано и что, следовательно, Ильину в основном все-таки *удалось* осуществить тот замысел, кото-

рый наметился у него еще в конце 1900-х годов, в период подготовки к профессорскому званию, и был окончательно сформулирован им четверть века спустя, в тридцатых годах. Пользуясь уже известными нам выражениями самого Ильина 48), симпатизирующий его идеям читатель должен будет признать, что Ильин, создавая и выдвигая апологию монархического начала, своим исследованием «О монархии» утвердил священное, жизненное и творческое значение монархической идеи. Он показал религиозную глубину, нравственные преимущества, художественную красоту и государственно-патриотическую силу монархического начала. Он сделал это, используя материал из истории главнейших народов мира, но сохраняя при этом христианскую точку зрения в качестве решающей. В готовых к печати главах его книги Ильин облек силу своей научной мысли и доказательности в ясную, простую и изящную литературную форму. Тон его недвусмысленно-правдивого и рыцарственно-корректного труда далек от всякой ненависти по отношению к республике, и честные республиканцы, читая его книгу, должны будут признать объективную справедливость очень многих положений ее автора. Что же касается сторонников монархии, то Ильин, — не вдаваясь в трактовку династических вопросов отдельных стран и пребывая на уровне высокой историко-философической идеологии, — оставил для монархистов разных направлений, стран и поколений надпартийное, объединительное, углубляющее и очистительное настольное сочинение.

Так могут восприниматься по крайней мере те

главы исследования Ильина, которые он сам считал готовыми к печати. Но эти главы, конечно, не исчерпывают всего *комплекса идей* Ильина, даже одних только монархических идей. К тому же, мы не знаем, какую окончательную форму приняли бы те страницы из его берлинских лекций, которые он сам выделил в качестве подлежащих включению в исследование «О монархии», — поэтому, в частности, они и печатаются в книге Ильина как бы в виде приложения, а не как главы восьмая, девятая и одиннадцатая его исследования. Эта оговорка, впрочем, относится по-настоящему лишь к окончательной литературной форме публикуемого материала, но никак не к идеям. Идеи Ильина остаются неизменными — и максимально согласованными — на протяжении всех обозреваемых здесь десятилетий его научной и публицистической деятельности, а потому и его берлинские лекции, и те многочисленные статьи, которые мы цитировали в настоящем очерке, совершенно необходимы для правильного понимания того, каким было отношение Ильина к монархии и республике — *во всей полноте* этого отношения.

«Тотальный» монархист — сторонник одновременно и монархического идеала, и монархической программы, и монархической тактики — может, конечно, сосредоточиться на одном только монархическом идеале Ильина и постараться игнорировать его суждения о монархической программе и монархической тактике. Но это будет далеко не «весь» Ильин. *«Весь» Ильин будет верно вос-*

принят только в свете его отношения и к идеалу и к программе, и к тактике.

Надо, к тому же ,признать, что даже монархический *идеал* Ильина — соотнесенный с его оценкой отдельных предпочтений республиканского правосознания (а к этой оценке мы вернемся дальше) — удовлетворит, вероятно, далеко не всех монархистов, в том числе и тогда, когда они ограничатся одними только законченными главами исследования « О монархии ». Еще более серьезное расхождение начнется с отрывков из лекций « Понятия монархии и республики ». Тут уже не только у тех, кого Ильин называл крайне-правыми или черносотенцами, но и у более умеренных монархистов целый ряд положений Ильина может вызвать известные колебания и сомнения — в особенности утверждение Ильина, что совестное и просвещенное монархическое правосознание требует не только повиновения, но при известных условиях и *неповиновения монарху*.

Еще большие сомнения и расхождения с Ильиным начнутся у некоторых монархистов тогда, когда они от отношения Ильина к монархическому идеалу перейдут к его отношению к монархической *программе* и монархической *тактике*. Как было показано, Ильин твердо стоял на позициях *тактического непредрешения* в условиях эмиграции и *программного непредрешения* в условиях, которые возникнут непосредственно вслед за крушением коммунистического строя. Одни не примут программного непредрешенчества Ильина, даже, может быть, соглашаясь с его тактическим не-

предрешенчеством. Другие не примут и программного, и тактического непредрешенчества.

Но и отношение Ильина к *республике* и республиканскому правосознанию едва ли удовлетворит всех монархистов. Напомним, что ряд предпочтений республиканского правосознания, в особенности любовь к свободе, Ильин и сам ценил очень высоко. Он отвергал республику, т. к. ставил монархию выше. Но республику отвергал тоже не всегда, не везде и не для всех. Он знал, что есть народы и страны, для которых было бы вообще нелепо добиваться монархической формы правления, — как, например, Соединенные Штаты (президентскую форму которых Ильин оценивал очень высоко — выше других великих республик) и современная Швейцария. И он допускал, что даже в истории монархической страны может наступить период, когда монархия становится на время невозможной.

Возвращаясь к общей монархической позиции Ильина, зададим себе вопрос : сторонником *какой монархии* был Ильин : конституционной, самодержавной, абсолютистской или тиранической ? Как мы видели, Ильин критически отзывался о русских конституционных монархистах и положительно — о *самодержавной* монархии как политическом идеале. Но самодержавная монархия Ильина — это совсем не то, что обычно себе представляют, употребляя это словосочетание. Для Ильина между самодержавием и абсолютизмом лежала целая пропасть 49), и он был категорическим противником абсолютистской или тиранической монархии. Самодержавную монархию Ильин

понимал как явление *правовое*: «самодержавный монарх знает законные пределы своей власти и не посягает на права, ему неприсвоенные» 50). Самодержавие, следовательно, не выше закона, а в подчинении закону. И оно отнюдь не исключает ни местного самоуправления, ни народного представительства. Напротив, подготовка народа к самодеятельности и самоуправлению есть даже одно из прямых заданий монарха 51). И когда монарх явно отступает от своего высокого призвания, то сторонник самодержавной, и притом наследственной, монархии, может даже, как мы знаем, оказаться перед необходимостью диспенсирования своей обязанности пожизненно служить монарху, его семье и роду.

Глядя вперед, в русское *будущее*, Ильин и на склоне лет, в одной из своих подытоживающих статей, «Очертания будущей России» 52), призывал — подобно тому, как он это делал в двадцатых и тридцатых годах — исходить в конечном счете из «исторических, национальных, религиозных, культурных и державных основ и интересов» (328) *России*, а не из сильно выветрившихся за последние десятилетия стандартных лозунгов — таких, как «демократия», «федерация», «республика» или даже «монархия». Сами по себе взятые, эти лозунги теперь мало что означают; они требуют предельного насыщения содержанием и уточнения. И никакое заимствование у Запада готовой государственной формы Россию не спасет. Россия «должна *сама создать* и выковать свое общественное и государственное обличие, такое, которое ей в этот момент исторически будет

необходимо, которое будет подходить только для нее и будет спасительно именно для нее; и она должна сделать это, не испрашивая разрешения ни у каких няnek и ни у каких соблазнительей или покупателей» (330).

При таком подходе к вопросу государственной формы, человек, исповедующий монархический идеал, может по-новому отнестись и к республиканскому идеалу. Как было отмечено, Ильин еще в тридцатых годах считал, что в то время как республиканцы отвергают все преимущества монархического уклада души, *в монархический уклад, когда он на высоте, вполне могут вместиться и все достоинства республиканизма* 53). Этого же взгляда Ильин придерживался и в конце своей жизни, в пятидесятых годах. Так, в только что цитированной статье «Очертания будущей России» Ильин писал, что будущий русский государственный строй должен стать *сочетанием* лучших и священных основ монархии с тем здоровым и сильным, чем держится республиканское сознание; естественных и драгоценных основ истинной аристократии с тем здоровым духом, которым держатся подлинные демократии. «Единовластие примирится с множеством самостоятельных изволений; сильная власть сочетается с творческой свободой; личность добровольно и искренно подчинится сверхличным целям; и единый народ найдет своего личного Главу, чтобы связаться с ним *доверием и преданностью*» (330).

Но всего этого можно ожидать и программно добиваться лишь в более отдаленном будущем. До того, сразу после крушения коммунистического

строю, вывести страну из неизбежно предстоящего хаоса сможет только «*единая и сильная государственная власть, диктаториальная по объему полномочий и государственно-национально-настроенная по существу*» (333). Ныне же, до свержения коммунистического строя, единственно правильный путь — не отказываясь от своего политического идеала, оставаться на платформе тактического и программного непредрешения и стремиться к возможно более широкому сотрудничеству честных монархистов с честными республиканцами в борьбе против их и России общего врага — коммунизма.

Именно так воспринимал монархию и республику — и непредрешение — Иван Александрович Ильин, этот выдающийся русский религиозный и политический мыслитель XX века.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПРИЛОЖЕНИЮ»

1) В работе над этой статьей — и при подготовке к печати труда И.А. Ильина «О монархии» и избранных страниц его курса лекций «Понятия монархии и республики» — я широко пользовался материалами архива проф. Ильина (сгруппированными преимущественно под номерами 195 и 140). Courtesy of Michigan State University Libraries' Special Collections. Блокнот «О монархии» хранится под номером 195, документ 43, единица хранения 1.

2) № 195, док. 43, ед. хр. 3.

3) № 195, док. 43, ед. хр. 6.

4) № 195, док. 43, ед. хр. 4.

5) № 195, док. 41.

6) Русский текст — в № 140, французский текст — в № 195.

7) № 140, «Проект письма Итал. Королю», стр. 1 карандашной рукописи. Здесь и дальше курсив в цитатах всюду И.А. Ильина.

8) № 195, док. 40, ед. хр. 5 — «Общий характер и содержание», стр. 6-7 карандашной рукописи (в соответ-

ствии с пагинацией, установленной при подготовке документов к фотографированию).

9) Там же, стр. 7.

10) Там же, стр. 7-8.

11) Там же, стр. 9.

12) Там же, стр. 9-10.

13) № 195, док. 40, стр. 1.

14) Там же, стр. 4.

15) Центристственность—центробежность; заслуги служения—культ личного успеха, карьеры; гетерономия, авторитет—автономия, отвержение авторитетов.

16) Как было упомянуто, в более раннем документе, озаглавленном «Общий характер и содержание», Ильин полностью раскрыл семь пунктов противопоставлений, а в книге предполагал дать систематический анализ еще пятнадцати других пунктов. Таким образом, первоначально он имел в виду всего 22, а не 20 пунктов (см. № 195, док. 40, ед. хр. 5, стр. 8).

17) «Возрождение» № 3501 от 3 января и № 3506 от 8 января 1935 г.

18) «Наши задачи. Статьи 1948-1954 гг.», в 2 тт., Издание Русского Обще-Воинского Союза, Париж, 1956 — т. II, №№ 199-201, стр. 547-559. В дальнейшем при цитировании «Наших задач» страницы указываются непосредственно в тексте «Приложения».

19) Что касается «Наших задач», то в указателе к ним, составленном почти целиком самим Ильиным, есть специальный раздел (восьмой), который так и озаглавлен — «Монархия и республика». Если указанные там порядковые номера статей дополнить заглавиями, получится следующий список статей, относящихся к проблеме монархии и республики: «"Один в поле и тот воин"» (№ 1), «О государственной форме» (25), «Трагедия династий без трона» (38), «Мировая политика русских государей» (45 и 46), «"Каждый народ заслуживает своего правительства"» (71), «Когда Россия была республикой?» (91), «Очертания будущей России» (132), «Русскому народу необходимо духовное обновление» (146), «О возрождении России» (150 и 151), «Надо готовить грядущую Россию» (154), «Кое-что об основных законах будущей России» (157), «О правах и обязанностях российских граждан» (158 и 159) и «О Государе» (199-201). В особый раздел (седьмой) выделены в указателе статьи, относящиеся к теме «Крушение монархии в России»: «Почему сокрушился в России монархический строй?»

(в указателе ошибочно указаны только №№ 160, 165, 191 и 192; на самом деле тут серия из восьми статей: 160-165, плюс 191 и 192), «Заветы февраля» (64) и «О страданиях и унижениях русского народа» (66). (Тут указываются заглавия статей в том виде, как они даны в тексте «Наших задач». В указателе эти заглавия иногда заменяются иными тематическими вехами.)

20) «Когда Россия была республикой?» — В сб. «Наши задачи», т. I, № 91, стр. 219-223.

21) В одной из довоенных своих статей, «Творческие уроки русской истории» («Россия», Нью-Йорк, 1938, 8 мая, № 1177), Ильин писал, что за всю историю России республиканская форма наблюдается только два раза: во время московской Семибоярщины в период Смутного времени (1609-1612) и после революции 1917 года, при большевиках. Расхождение с тем, что мы находим в «Наших задачах», по существу, только кажущееся. В «Наших задачах» действительная природа Семибоярщины еще более уточнена. Но это не отменяет выводов, сделанных Ильиным в статье 1938 г.: «Россия становилась республикой только в периоды разложения и провала», и один из главных творческих уроков русской истории заключается в том, что именно монархия искони вела и строила Россию, а республика ее разрушала.

22) «Мировая политика русских государей». — В сб. «Наши задачи», т. I, №№ 45 и 46, стр. 94-99. Статья Ферреро была напечатана во французском журнале «L'Illustration», 1933, 21 января, № 4690.

23) «Почему сокрушился в России монархический строй?» — В сб. «Наши задачи», т. II, №№ 160-165, стр. 419-430, и №№ 191-192, стр. 518-525.

24) По мнению Ильина, высказанному в другом месте той же статьи, в 1917 году «История как бы вслух произнесла некий закон: в России возможны или единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия неспособна. Или еще точнее: бытие России требует *единовластия* — или религиозно и национально укрепленного, *единовластия чести, верности и служения*, т. е. *монархии*; или же *единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного*, и притом *антинационального и интернационального*, т. е. *тирании*» (стр. 420).

25) Архив проф. Ильина, № 197, док. 48, ед. хр. 12.

26) Из публичных выступлений см. особенно статью проф. Ильина «Черносотенство — проклятие и гибель России» в рижской газете «Слово», 1926, 1, 2 и 3 марта,

№№ 88-90. (Этот заголовок принадлежит редакции «Слова». Заглавие Ильина было просто «Черносотенство» — см. на этот счет указание в газетной вырезке этой статьи в архиве, № 198, док. 52, тетрадь № 7, стр. 10.) По всем признакам, это та самая статья, которую осенью 1925 г. не принял П.Б. Струве. Ввиду ее важности для понимания позиции Ильина, приведем ряд выдержек:

«Для того, чтобы одолеть революцию и возродить Россию, необходимо очистить души — во-первых, от революционности, а, во-вторых, от черносотенства». «Черносотенство есть *противо-государственная корыстная правизна в политике*». «(...) большевики суть "черносотенцы слева", а черносотенцы суть "большевики справа"». «Русские правые круги должны понять, что после большевиков самый опасный враг России — это черносотенцы. Это искажители национальных заветов; отравители духовных колодцев; обезьяны русского государственно-патриотического обличия. (...) Не ими строилась Россия; но именно ими она увечилась и подготавливалась к гибели. И не черносотенцы поведут ее к возрождению. (...) У них не мудрость, а узость; не патриотизм, а жадность; не возрождение, а реставрация».

27) «Речь И.А. Ильина». — «Возрождение», 1926, 10 апреля, № 312.

28) «Республика — монархия». — «Возрождение», 1926, 9 мая, № 341. В своей подборке газетных вырезок (архив №198, док. 52, тетрадь № 3, стр. 23) Ильин в заголовке этой статьи заменил тире словом «или». В результате, с добавлением требующегося по смыслу вопросительного знака, заголовок выглядит так: «Монархия или республика?» — и приобретает совсем другое звучание. Поскольку, однако, оригинала в архиве нет, неясно, было ли заглавие видоизменено редактором газеты (и, возможно, без предварительного согласия на то автора), или же Ильин изменил его сам, *post-factum*, считая, что в таком виде оно лучше передает его подход и содержание статьи.

29) «Крайне-партийные» монархисты есть эвфемизм, за которым скрываются «крайне-правые» и «черносотенцы». Неизвестно, был ли этот компромиссный термин предложен редакцией «Возрождения» — или же был выдвинут (в результате инцидента со статьей Ильина, направленной против черносотенцев) самим Ильиным.

30) « Трагедия династий без трона ». — В сб. « Наши задачи », т. I, № 38, стр. 73-76.

31) « Надо готовить грядущую Россию ». — В сб. « Наши задачи », т. II, № 154, стр. 403-406.

32) « Кое-что об основных законах будущей России ». — В сб. « Наши задачи », т. II, № 157, стр. 411-413; « О правах и обязанностях российских граждан », там же, №№ 158 и 159, стр. 413-419.

33) « О Государе ». — В сб. « Наши задачи », т. II, №№ 199-201, стр. 547-559.

34) « Речь И. А. Ильина ». — « Возрождение », 1926, 10 апреля, № 312.

35) « Русскому народу необходимо духовное обновление ». — В сб. « Наши задачи », т. II, № 146, стр. 379-382.

36) « Очертания будущей России ». — В сб. « Наши задачи », т. I, №№ 132 и 133, стр. 328-334.

37) « Русскому народу необходимо духовное обновление » (см. прим. 35).

38) « О возрождении России ». — В сб. « Наши задачи », т. II, №№ 150 и 151, стр. 394-398.

39) « О государственной форме ». — В сб. « Наши задачи », т. I, № 25, стр. 42-44.

40) « Трагедия династий без трона » (см. прим. 30).

41) « О государственной форме » (см. прим. 39).

42) « Республика — монархия » (см. прим. 28).

43) « О монархе ». — « Возрождение », 1935, 3 и 8 января, №№ 3501 и 3506.

44) « Мы не предрешаем ». — « Возрождение », 1931, 25 августа, № 2275.

45) « Новая Россия — новые идеи ». — « Возрождение », 1936, 10 октября, № 4047.

46) Психологию, идеологию и тактику младороссов Ильин подверг уничтожающей критике, в частности, в своей статье « О младороссах » в газете « Россия и Славянство », 1932, 26 марта, № 174. Ильин не видел в младороссах никаких следов живого и верного монархического правосознания и считал, что они принимают за монархию лишь « ее внешнюю и мертвую оболочку — ее *формальную схему, ее словесность, ее пустую видимость* », но никак не ее существо. То, что младороссы в себя впитали, есть на самом деле предреволюционная, искаженная и опустошенная идея монархии, которую они к тому же пропитали « *и продолжают сознательно пропитывать и отравлять большевицким духом, большевицкими постановками вопроса, большевицкой словесностью* ». Из та-

кого духовного извращения русская монархия родиться не может. « На самом деле отсюда может возникнуть только ее крушение; и для этого крушения за всю эмиграцию никто еще не сделал столько, сколько младороссы. Трезвому человеку с здоровой совестью достаточно присмотреться к ним и вдуматься в их "генеральную линию", чтобы стать *непредрешенцем*. *Идейному монархисту остается только отпрянуть от такого монархизма — ибо поистине лучше антисоветская и антикоммунистическая республика, чем монархия, братающаяся с коммунистами и со всею советчиною* ». Своим поведением и взглядами младороссы « дают наглядный урок всей эмиграции, подтверждающий *правильность непредрешения* ».

47) « Общий характер и содержание » (задуманной книги « О монархии »), архив проф. Ильина, № 195, док. 40, ед. хр. 5, стр. 9.

48) Там же, стр. 6-7.

49) О пропасти между тираном и истинным монархом Ильин писал, в частности, в разделе « Опасности монархии » (по плану — глава 11-я исследования « О монархии »), где мы находим такие определения, как — « тиран есть всегда сходнородный антипод монарха », « карикатура на монарха », « постыдная обезьяна его ». Сходнородную противоположность между самодержавием и абсолютизмом Ильин выясняет также в « Наших задачах » — в уже цитированных нами сериях статей « Почему сокрушился в России монархический строй ? » (специально — в восьмой статье, под № 192) и « О Государе » (№№ 199-201).

50) « Почему сокрушился в России монархический строй ? », стр. 524.

51) Как писал Ильин в разделе « Внутреннее делание монарха и его качества » (по плану — глава 9-я исследования « О монархии »), самодержавный монарх « может дать народу самоуправление, конституцию и даже парламентаризм с ответственным министерством ». Напомним также слова из статьи « О Государе » — о том, что задача Государя есть воспитание в народе « патриотизма, чувства собственного достоинства, силы суждения, чувства ответственности — и в результате этого способности к самоуправлению » (« Наши задачи », т. II, стр. 533).

52) « Очертания будущей России ». — В сб. « Наши задачи », т. I, №№ 132 и 133, стр. 328-334.

53) « Общий характер и содержание » (задуманной книги « О монархии »), архив проф. Ильина, № 195, док. 40, ед. хр. 5, стр. 9.

О г л а в л е н и е

Н.П. Предисловие	Стр. 5
----------------------------	-----------

О МОНАРХИИ

Введение. Проблема и ее затруднения . . .	7
---	---

Часть I

Глава первая. Формальные черты монархии	17
Глава вторая. Проблема монархического правосознания	47

Часть II

Глава третья. Основные предпочтения - 1	65
Глава четвертая. Основные предпочтения - 2	94
Глава пятая. Основные предпочтения - 3 .	117
Глава шестая. Основные предпочтения - 4	140
Глава седьмая. Основные предпочтения - 5	171

ИЗ ЛЕКЦИЙ « ПОНЯТИЯ МОНАРХИИ И РЕСПУБЛИКИ »

Основные задания монарха	199
Внутреннее делание монарха и его качества	207
Опасности монархии	221

ПРИЛОЖЕНИЕ

Н.П. Полторацкий. Монархия и республика в восприятии И.А. Ильина	249
--	-----

P.I.U.F. 3, rue du Sabot, 75006 — PARIS

